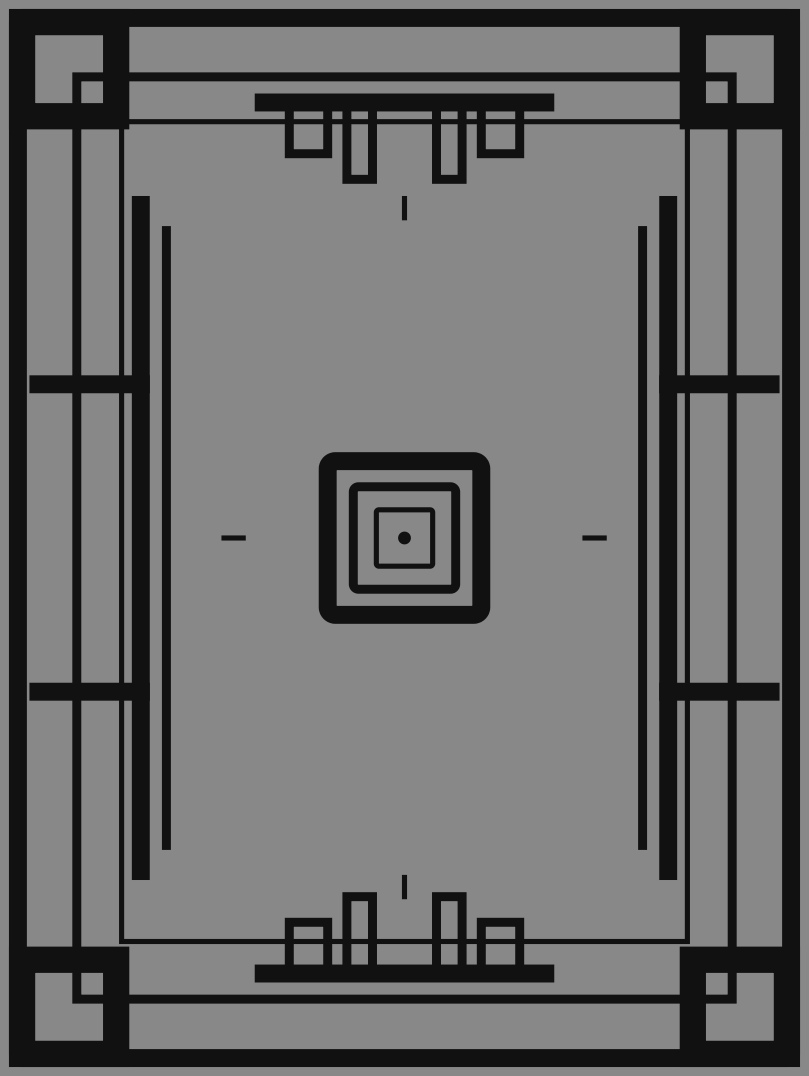

Воспитание Цифруши
Станислав Лем

Станислав Лем. Воспитание Цифруши

Станислав Лем
Воспитание Цифруши

Когда Клапауция назначили ректором университета, Трурль, который остался дома, поскольку терпеть не мог любой дисциплины, не исключая университетской, в приступе жестокого одиночества соорудил себе премилую цифровую машинку, до того смышленую, что втайне уже видел в ней своего наследника и продолжателя. Правда, всякое между ними бывало, и, в зависимости от расположения духа и успехов в учении, иной раз звал он ее Цифрунчиком, Цифрушей или Цифрушечкой, а иной раз — Цифруктом. Первое время игрывал он с нею в шахматы, пока она не начала ставить ему мат за матом; когда же на межгалактическом турнире она одолела сто гроссмейстеров сразу, то есть влепила им гектомат, Трурль убоялся последствий слишком уж однобокой специализации и, чтобы ум Цифруши раскрепостить, велел ему изучать в очередь химию с лирикой, а пополудни они вдвоем предавались невинным забавам, например, подыскивали рифмы на заданные слова. Именно этим и занимались они в один прекрасный день. Солнышко пригревало, тихо было в лаборатории, только щебетали реле да на два голоса звучала рифмовка.

— Внемлите? — предложил Трурль.

— Литий.
— Взор?
— Раствор.
— Солнце?
— Стронций.
— Тюльпан?
— Пропан.
— Храм?
— Вольфрам.
— Уста?
— Кислота.
— Кой черт, сплошная химия! — не выдержал Трурль. — Ты что, не можешь другой извилиной пошевелить? Убит!
— Карбид.
— Хлебнуть?
— Ртуть.
— Акация?
— Полимеризация.
— Прадед?
— Радий.
— Силен?
— Этилен.
— Довольно химии! — разгневался Трурль, видя, что так можно продолжать без конца.
— Это почему же? — возразил Цифрунчик. —

Такого запрета не было, а правила во время игры не меняют!

— Не умничай! Не тебе меня учить, что можно, а чего нельзя!

Между тем малыш преспокойно продолжал:

— Теперь ты. Магний?

Трурль не отзывался.

— Гафний? Цезий? Кобальт? Спасибо, я выиграл! — заключил Цифруша.

Трурль, тяжело дыша, начал было озираться в поисках гаечного ключа, но затем, овладев собою, сказал:

— Хватит на сегодня играть. Займемся-ка более высоким искусством, а именно философией, поскольку она — царица наук и как таковая касается абсолютно всего. Спроси меня о чем хочешь, а я отвечу тебе дважды, сперва по-простому, а после по-философски!

— Правда ли, что тепляк — это подогретый земляк? — спросила машинка.

Трурль откашлялся и произнес:

— Нет, ты не так меня понял, твой вопрос касается словаря...

— Но ты же сказал, что философия касается всего на свете! — настаивал Цифрунчик.

— Спрашивай про другое, раз я тебе говорю!

— Почему скверный делец не то же самое, что деловитый сквернавец?

— И откуда ты только берешь такие дурацкие вопросы?! — возмутился Трурль. — Ну, хорошо. Выучки тебе еще не хватает, это понятно. Знаешь ли ты, чего хочешь?

— Малость поинтегрировать.

— Да не в эту минуту, осел, а в жизни!

— Хочу превзойти тебя славой!

— Это желание суетное, не стоящее усилий и уж наверняка не достойное быть целью всей жизни!

— Тогда почему ты увешал стены грамотами да дипломами?

— Просто так! Это не имеет значения. И больше мне не мешай, а то я тебя вмиг перепрограммирую!

— Ты не можешь так поступить, ведь это противно этике.

— Хватит. Идем на чердак — я устрою тебе наглядную лекцию по философии, а ты слушай молча, учись и не встревай!

Пошли они на чердак, Трурль приставил лесенку к дымоходу, поднялся по ней, за ним взобрался Цифранчик, и вот уже они стояли на крыше, откуда вид открывался далеко-далеко.

— Взгляни-ка на лесенку, по которой мы поднялись, — благожелательно сказал Трурль. — Куплена она мною по случаю, однако оказалась длинновата, а укорачивать ее не хотелось, уж больно хорошее дерево; вот и проделал я в крыше дыру и в нее просунул излишек. Как видишь, теперь лесенка на два метра выше кровли. Если подниматься по ней, то поначалу каждый твой шаг имеет однозначный и ясный смысл. Но если, оставив внизу чердак, ты будешь взбираться и дальше, смысл, содержавшийся в предыдущих твоих шагах, улетучится на уровне гребня крыши и не останется никакого иного смысла, кроме того, который ты сам вложишь в свои начинания! Поэтому, будучи спрошен, зачем я ставлю ногу на нижние ступени, я вправе ответить: «Взбираюсь на крышу»; но этот ответ не годится, если взобраться на самый верх! Там, наверху, дорогой мой Цифруша, надобно уже самому выдумывать цели и смыслы. Такова in ovo[1] вся теория высших сущностей, то есть разума, который, высунувшись из болтанки и передряг материи, начинает дивиться как раз тому, что он разумен, и не знает, что ему делать с самим собой и что означают его

[1] Примечания: 1
В зародыше (*лат.*).

сомнения! Запомни мои слова, Цифрунчик, ибо это чрезвычайно глубокая притча с философской подкладкой!

— Не значит ли это, что нас занесло чересчур высоко? — поинтересовался малыш.

— В известном смысле да, по инерции, ведь этот процесс уже не притормозить, если он набрал ходу. А теперь сосредоточься, потому что я буду говорить о различии между возможным и невозможным.

— Я сам слышал, как ты говорил дяде Клапауцию, что можешь все! — выпалил Цифруша.

— Ты замолчишь когда-нибудь или нет? Я говорил в другом смысле. Знание кладет конец удивлению, ведь того, кто все знает, ничто не в состоянии поразить! Поэтому меня ничто удивить не может, понятно?

— А если бы случилось то, что кажется тебе невозможным, ты и тогда бы не удивился?

— Не мели чепуху. Невозможное не может случиться. Если бы, к примеру, сейчас в наш садик упал метеорит...

Он не докончил — послышался пронзительный свист, дом задрожал, несколько черепиц соскочили с крыши, лесенка завибрировала, а в саду вырос столб пыли; и все кончилось так же

внезапно, как началось.

— Что-то с неба упало! Должно быть, метеорит! Ты не удивился? — радостно запищала машинка.

— Ничуть, — соврал Трурль, который едва не слетел с гребня крыши. — Такое событие как нельзя более кстати для нашей лекции. Это был чистый случай, то есть совпадение независимых друг от друга событий. Статистика утверждает, что падение метеорита на мирные жилища возможно, хотя и случается крайне редко. Однако невозможно, чтобы сразу же после этого метеорита упал следующий, ибо...

Похоже, Цифруша слушал его не слишком внимательно: высунувшись за край крыши, он разглядывал крупную воронку, окруженную валом из остатков ограды и грядок клубники; на ее дне поблескивало что-то вроде стеклянной глыбы.

— Там что-то есть, — сказал он.

Тут снова завыло, загудело, загрохотало, возле воронки взметнулась пыль.

— Второй метеорит! Теперь-то уж ты наверняка удивился! — восхищенно пищал Цифруша.

— Метеориты не падают дважды в одно и то же место, этого не бывает! — изрек Трурль, придя в себя. — Не исключено, что мы наблюдаем новый

тип фата-морганы... Но если допустить, что это случилось в действительности, то следующее падение метеорита исключается на очень долгое время, поскольку статистическое распределение...

Грянул гром, и, взметнувши в воздух тучу обломков, между двумя воронками врезался какой-то блестящий предмет, да с такой мощью, что дом качнуло, как на волнах.

— Третий! — радостно взвизгнул Цифруша.

— Ложись! — перекрыл его голосом Трурль, падая с лесенки на чердак и увлекая за собой воспитанника.

Встав на ноги и слегка отряхнувшись, они уже безо всякого философствования побежали в сад. Трурль обошел вокруг трех больших воронок, тряся головой и тихонько вздыхая, а потом присел на корточках на краю самой маленькой из них.

— Удивляешься?! — торжествовал за его спиною малыш. — А я вот ни капельки не удивляюсь, потому что математика идет впереди твоей философии! Множество планет пересекается со множеством метеоритов, образуя такое подмножество, в котором метеориты по меньшей мере единожды залетают в клубнику. В этом подмножестве должно находиться подподмножество

планет, на которые метеориты падают дуплетом, а в нем, в свою очередь, подподподмножество троекратных столкновений!

— Чушь, — ответил Трурль рассеянно, так как стряхивал песок и глину с загадочной глыбы на дне воронки. — Почему это должно было случиться именно с НАМИ?

— Потому что с кем-то должно было случиться, согласно нормальному распределению, — выпалил Цифрунчик.

— А в каком подмножестве находятся метеориты, начиненные музыкальными инструментами? — спросил Трурль, вставая, а Цифруша заглянул в воронку и издал удивленный писк.

Трурль подошел к сараю и позвал копальную машину, но та, поскольку была разумна, перепугалась грома с ясного неба и вся задрожала, забилась в угол и даже не думала выполнять приказание.

— Вот плоды автоматизации чересчур совершенной! — буркнул Трурль, видя, что рассчитывать не на кого.

В конце концов, орудуя киркой и лопатой, он выгреб из меньшей воронки кусок льда неправильной формы, запачканный землей и внутри мутноватый; однако там, в глубине, виднелась

цилиндрическая тень, запеленутая матерчатой лентой. Принесенным из лаборатории молотком Трурль принялся откалывать лед, осторожно, чтобы не повредить вмерзший в глыбу предмет. Глыба наконец раскололась, и из нее выпал темно-красный цилиндр, обвитый златотканой тесьмою; ударившись о рукоять брошенной на землю лопаты, он звучно загудел.

— Барабан... — удивился Цифруша, поднимая его с земли.

Это и вправду был оркестровый барабан с подставкой, в превосходной сохранности, обшитый козлиной кожей. Цифруша немедленно попробовал выбить на нем мелкую дробь.

Тем временем Трурль без лишних слов принялся за вторую воронку, ибо и там застряла ледяная глыба, гораздо больше первой. Он методично бил молотком, пока из-под отскакивающих ледышек не показались два столбообразных кожаных футляра с молнией наверху, а дальше — еще пара столбиков, обернутых зеленой материей. Трурль работал без устали, и вскоре неведомый предмет лежал на траве, освобожденный от ледовых оков.

Покрывавший его материал, твердый, словно стекло, был украшен рядом золотых пуговиц и

заканчивался отложным воротником, из которого высовывался кругляк, прикрытый суконной нашлепкой; а с другого конца торчали столбы в футлярах.

— Ей-ей, Существо со Звезд! — возбужденно воскликнул Трурль. — Трубы у него на ногах зовутся сапогами — я видел такие в атласе древностей у моего наставника Кереброна! Это старинный робот, прямо-таки допотопный, смотри и учись! Да перестань же ты барабанить, а то у меня уши лопнут! Вот это его узорный кафтан, это — шляпа, а что у него в руках? Палки? Они принадлежат к барабану, барабан к ним, из чего следует, что перед нами барабанщик! Поспеваешь ли ты за быстрым течением моих мыслей?

— Я даже опережаю его, — дерзко заявила машинка. — Если барабан с барабанщиком летели вместе, значит, у них была общая траектория, однако вмерзли они не в метеориты, ведь те не летают так кучно; следовательно, нашу клубнику погубила ледовая комета! А раз так, то это три фрагмента ее ядра. Я бы ничуточки не удивился, если в третьем окажется дирижер или виолончелист!

— Это еще почему, умник ты мой? — спросил сбитый с толку Трурль.

— Потому что комета, должно быть, задела хвостом целый оркестр! Во всяком случае, это вполне вероятно...

— Не трогай его! Ничего не трогай! Сиди смирно, пока я не скажу, понятно? — снова рассердился Трурль и, утвердившись тем самым в своем наставническом превосходстве, продолжил осмотр Существа.

— Эти сапоги — с пряжками, — назидательно сказал он. — Но почему материал окаменел? Ага, похоже, промерз насквозь, вместе с владельцем! Можно было бы исследовать его спектроскопом — ты понял? — беря небольшие пробы; но тогда мы узнаем лишь его химическое строение, а оно не скажет нам, как он очутился в ледовой гробнице! Засунем-ка мы его в воскресильню, так будет лучше всего!

Он сидел на корточках возле Существа со Звезд в глубоком раздумье.

— Если нам повезет, мы сможем его расспросить и узнаем много нового. Но какую матрицу воскрешения выбрать? Вот вопрос! Это не представитель

класса Silicoidea[2], отряд Festinalentinae[3], не киберак и тем более не киберыба...

— Обычный ударник, я же говорю! Лучше всего положить его на печку! — визжала свое машинка.

— Тихо у меня! Робот роботу не ровня... Положить на печку — дело нехитрое и не требующее моих незаурядных познаний! Тут легко и глупость сморозить! Возможно, барабан — всего лишь прикрытие, камуфляж, и тогда оживление крайне опасно: а ну как это смертоносное машинище, посланное каким-нибудь злобным конструктором в Космос за намеченной жертвой? Ведь и такое бывало! Но с другой стороны, предпринять воскрешенческие процедуры побуждает нас императив космической доброжелательности, соображаешь? Тем самым я ввел в наши рассуждения этику. Может, узнаем побольше, заглянув в третью яму?

Как он сказал, так и сделал на глазах у смекалистого Цифруши, который по-прежнему мешал ему дотошными вопросами, так что разгневанный

---

[2] Примечания: 2

Кремниевых (*лат.*).

[3] Примечания: 3

Медленноспешащих (от латинского выражения *«festina lente»* — «поспешай медленно»).

Трурль молотил по льду все сильней и сильней. С ужасающим треском глыба распалась надвое, а вместе с ней — вмерзший в нее предмет. Трурль на мгновение даже лишился речи.

— Это все ты! Чтоб тебя...

— А космическая доброжелательность? — прошептал Фрунчик, впрочем и сам порядком смутившийся.

Трурль не отрываясь смотрел на сверкающие туфли с застежками, на темно-синие носки в красную полоску и заледеневшие икры, что торчали, уже очищенные ото льда, из половины ледовой глыбы. Необычайная чистота всех этих предметов изумила его.

— Неужели это существо воздает почести нижним своим футлярам? — произнес он, размышляя вслух. — Странно! Не уверен, что попытка оживить разделенные половинки увенчается успехом... сперва надо бы снова соединить их!

Присев, он внимательнее всмотрелся в то, что содержалось в середке расколотого. Скол сиял ледяными кристалликами, являя взору беспорядочные завитушки внутренних органов. Трурль почесал голову.

— Неужто перед нами существо, построенное из клея, одно из тех, о которых писал древний кибер-

мистик Клибабер? Неужто мы видим одного из пратуземцев Галактики, допотопного тленника, именуемого в легендах чиавеком? Столько миров облетел я, столько систем посетил, но ни разу не случилось мне увидеть воочию Мыслящего Масляка! О, надобно приложить все силы, чтобы воскрешение удалось! Что за редкостная оказия потолковать на онтологические темы, не говоря уже о мине, которую состроит твой дядя Клапауций! Но до чего бестолково сконструирован этот расколотый! Бедный раскольник, поистине гордиево у тебя нутро, ни винтика тут не приладишь, ни скрепы, и неизвестно, что здесь к чему! Только общая ледоватость удерживает воедино все эти петливины и извилки!

— Папа, — сказала машинка, заглядывая Трурлю через плечо, — это не чиавек, не масляк и не тленник, а обыкновенный хандроид!

— А? Что? Не мешай! Ты о чем? Хандроид? Должно быть, андроид!

— Нет, именно хандроид, то есть андроид, которым овладела хандра! Как раз вчера я прочел о них в энциклопедии!

— Чепуха! Откуда тебе это знать?

— Да ведь у него в руках кубок.

— Кубок? Какой кубок? Вон там, во льду? Гм...

действительно. Ну, и что же?

— В таких кубках обычно подносят цикуту; раз он хотел ее выпить, перед нами неудавшийся самоубийца, а откуда у него суицидальные побуждения, если не от taedium vitae[4], то есть от хандры?

— Слишком рискованные силлогизмы! Ты рассуждаешь неверно! Не так я тебя учил! — поспешно выкрикивал Трурль, волоча ледяную глыбу с корпусом Хандроида. — Впрочем, сейчас не до рассуждений. Идем наверх!

— Ты его в печку? — спросила машинка, подпрыгивая на месте от возбуждения. — В печку, в печку!

— Не в печку, а на лежанку! — поправил Трурль.

Прежде чем положить Хандроида на печную лежанку, он занялся нелегкой молекулярной штопкой: подтягивал атом к атому костенеющими пальцами, ведь работать приходилось на искусственном морозе; вдобавок порою его одолевали сомнения, что к чему относится, — такой царил в Хандроиде кавардак. К счастью, он мог ориентироваться по поверхности, то есть по

---

[4] Примечания: 4
Отвращения к жизни (*лат.*).

суконной одежде, так как обшитые кожей пуговицы ясно указывали, где зад, а где перед.

Положив наконец оба существа в тепле, он спустился в лабораторию, чтобы на всякий случай перелистать «Введение в Воскресительство». Так он корпел над книгами, когда на втором этаже послышался какой-то шум.

— Сейчас! Сейчас! — крикнул Трурль и побежал наверх.

Робот в сапогах сидел на лежанке, удивленно ощупывая себя, Хандроид же валялся на полу: попробовав встать, он потерял равновесие и упал.

— Почтенные пришельцы! — с порога обратился к ним Трурль. — Приветствую вас в моем доме! Заточенные в ледовые глыбы, вы упали в мой сад, загубив всю клубнику, за что я, впрочем, на вас не в обиде. Я выколотил вас изо льда и при помощи инкубационной термической реанимации, а также интенсивной демортизации, привел в сознание, как сами видите! Не знаю, однако, откуда вы взялись в этом льду, и горю нестерпимым желанием узнать о ваших судьбах! Вы уж простите меня за дерзость; что же касается малыша, который подпрыгивает рядом со мной, так это мой несовершеннолетний потомок...

— А вы кто будете, ваша милость? — слабым го-

лосом спросил Хандроид, который все еще сидел на полу и ощупывал весь свой корпус.

— Господа пришельцы — ты, в кожаных сапогах, и ты, горячо и мокро уставившийся на меня, — знайте, что я всемогуторный конструктор по имени Трурль, весьма известный. Это место — моя лаборатория на Восьмой Планете Солнца, которого до недавнего времени не было, ибо мы с товарищем моим Клапауцием сконструировали его в порядке общественного почина из галактических отходов. С незапамятных времен я занимаюсь опытной онтологией, сочетая оную с оптималистикой применительно ко всем Разумам Универсума! Я понимаю, что внезапное перенесение на чужбину, да еще таким необычным образом, отчасти явилось потрясением для ваших естеств; однако же соберитесь с мыслями и поведайте, кто вы такие, ибо тем мы ускорим общее взаимопонимание!

— А с Болицией Гармонарха Збасителя ваша милость никаких не имеет связей? — спросил довольно слабым голосом барабанщик с лежанки.

— Об этом Монархе, а равно о его Полиции, мне ничего не известно... да у вас, сударь, не насморк ли? Понятно — это от переохлаждения, любой простудился бы на таком холоде... липового чай-

ку не желаете?

— Я не простужен, а только говорю на чужеземный манер, — пояснил робот в сапогах, с явным облегчением разглядывая золотое шитье у себя на груди. — Государь, от которого я в некотором роде бежал, действительно зовется Гармонархом, и не Державой он правит, а Держабой, но это история длинная...

— Ах, расскажите ее! Пожалуйста! — подпрыгивая, запищала машинка, но Трурль строгим взглядом заставил ее умолкнуть и сказал:

— Я бы не хотел никого торопить — будьте моими гостями, прошу вас. А вы, сударь, кто? Андроид или, быть может, Маслитель?

— У меня еще в голове шумит, — ответил тот, что сидел на полу. — Ледовый метеорит? Комета? Возможно! Вполне возможно! Комета, только не та! Должно быть, мою я прошляпил! Ох, что же со мной теперь будет!

— Так вы не Хандроид? — разочарованно спросил Цифруша.

— Хандроид? Не знаю, что это такое. Какой-то гул в голове.

— Не обращайте внимания на этого недоросля! — вмешался Трурль, испепеляя Цифрушу взглядом. — Как вижу, вы, господа, пережили тьму

испытаний, а потому простите меня за несвоевременные призывы к скорейшему обоюдному знакомству; пожалуйте в покои, дабы себя в порядок привесть и несколько отдохнуть, а заодно подкрепиться немного!

После трапезы, прошедшей в молчании, Трурль показал необычайным гостям все свое хозяйство, включая лабораторию и библиотеку, а под конец привел их на чердак, где держал особенно любопытные экспонаты.

Чердак этот был устроен на манер музейного зала. На полках стояли экспонаты в масле, парафине и спирту, а с мощной потолочной балки свисал массивный автомат, черный как смоль и на первый взгляд мертвый. Однако он ожил, когда к нему подошли, и попробовал пнуть мнимого Хандроида.

— Прошу вас остерегаться, поскольку мои научные пособия — действующие! — пояснил Трурль. — Автомат, который вы видите на этом стальном тросе, построил восемьсот лет назад прамастер древности, архидоктор Нингус. Он замыслил создать Мыслянта благочестивого и добросердечного, так называемого Сакробота, или Набожника. Осторожно, господин барабанщик, он не только пинается, но может и укусить.

— Пособи мне Господь сорваться, и ты увидишь, что я могу! — проскрежетал заедающими шестеренками черный Сакробот.

— Как видите, господа, — продолжал с исследовательским увлечением Трурль, — он не только говорит, пинается и кусается, но также истово верует!

Тут, однако, механический фидеист поднял такой крик, что вся компания принуждена была возможно скорее покинуть чердак.

— Плоды веры непредсказуемы, — объяснял Трурль, пока они вместе спускались по лесенке.

Наконец они расположились в гостиной, где все уже было приготовлено — глубокие кресла, огонь в камине и клубничные электреты в ионозефирном соусе.

Обогревшись и подкрепившись, оба гостя все еще водили вокруг удивленными глазами, молча, поскольку Трурль не хотел торопить их вопросами, помня об испытаниях, выпавших на их долю. Но Цифруша вылез вперед и быстренько изложил им собственную версию случившегося, подкрепленную солидными вычислениями. Мол, ледовая комета, обращаясь в звездной системе, задевала хвостом планеты и смахивала тех туземцев, что попались ей на пути, а затем уносила

их, замороженных намертво, в апогелий, где, как известно, тела эти тащатся как улитки, пока наконец тысячелетия спустя неведомая пертурбация не столкнула комету с ее орбиты и бросила на Трурлеву обитель. Прежде чем Трурль успел его угомонить, Цифрунчик рассчитал примерные элементы кометной траектории и, наложив ее на карту звездной системы, которую знал на память, принял такие коэффициенты населенности планет, что у него получилось внушительное число: семь тысяч семьсот семьдесят три лица, которые должны еще находиться в кометном хвосте. Лица эти, захваченные в разное время и в разных местах, уже удалялись от сотрапезников со второй космической скоростью. Теперь падение двух гостей в двух метеоритах и барабана в третьем стало вполне заурядным физическим явлением, и Трурль даже начал жалеть всех неведомых пассажиров, вмерзших в кометный лед, которых он не воскресит, а значит, никогда не узнает лично. Хотя давно опустилась ночь, спать никому не хотелось; оно и понятно, если взять во внимание, сколь долго пребывали гости в ледовой летаргии и как не терпелось Трурлю вместе с Цифрунчиком узнать их судьбу. Итак, хозяин возобновил давешнее свое предложение

— чтобы спасенные поведали историю своей жизни, вплоть до кометного вознесения. Те же переглянулись и после недолгих споров из-за того, кому начинать, порешили, что порядок этот определил их спаситель очередностью воскрешения; так что первым повел речь робот в сапогах.

Рассказ Первого Размороженца

В моей особе вы видите завзятого маэстро из симфонического оркестра; отсюда и беды мои. Еще мальцом непритертым выказывал я дарование, барабаня на чем придется и изо всякой вещи ее самобытный тон извлекая. В нашем роду сыздавна так повелось. Владею ударом мягким и жестким, от грома раскатов до шороха песочных часов простирается мое мастерство. Уж если разбарабанюсь, ничего не вижу окрест. В свободные же минуты люблю тамбуринить и даже могу смастерить инструмент преизрядный, дайте мне только козу да трухлявый чурбан или ушат да клеенку. Но в одном оркестре долго усидеть не способен и странствую, чтобы испробовать все наилучшие на свете ансамбли. Слух же имею я абсолютный и без ума от игры громыханья. Сколько я звезд, планет, филармоний объездил! Уж где не бывал, где только не игрывал! Но вскоре палочки

у меня из рук выпадали, и дальше пытливость меня гнала. Давал я концерты сольные, на коих стон, плач, раж и смех; случалось, толпа меня на руках несла, а то и барабаны мои на реликвии разрывала. Не славы я домогался, жаждал не лавров, но в музыке раствориться великой, влекусь к оркестру, как река к океану, чтобы влиться в него и в безбрежности его затеряться. Ведь для меня сам я — ничто, а совершенная мелодия — все, ее-то я и искал, роясь день и ночь в партитурах. И вот на планетных выселках Алеоции впервой довелось мне услышать о державе Гафния. Это там, где спиральный рукавчик местной туманности загибается и переходит в манжетик со звездной подкладкой. Здесь-то и дошла до меня эта весть на погибель мою и душу мне распалила тоскованием великим: дескать, держава та не простая, а филармоническая, и равнобежно ее границам тянется колоннада филармонии королевской. Говорили еще, будто всяк там играет, король же внимает, в надежде, что музыки храм дарует его народу Музыку Сфер! Пустился я с места в карьер галопом в те края, а по дороге кормился платой за свое ремесло, бравурной дробью разгоняя тревоги, воспламеняя старых и малых, и ловил каждый слух, желая дознаться, много

ли правды в этой молве. Однако же, странное дело, чем дальше окрестность от Гафния, тем больше хвалят обычаи его музыкальные, верят в Гармонию Сфер и в то, что стоит там жить, чтобы играть. Но чем ближе, тем чаще отвечают без особой охоты, а то и вовсе молчат, тряся головою либо даже постукивая по лбу. Пробовал я расспросами припирать туземцев к стене, но те отбрехивались. На Оберузии сказал мне один старик: играть там, знамо, играют, наяривают без устали, только музыки от такого игранья что кот наплакал, немузыкальная эта музыка ихняя, больше в ней другого чего. Как же так, дивуюсь, без музыки музыка? И что это такое «другое», позвольте узнать? Но он лишь рукой махнул — мол, не стоит и говорить. А прочие опять за свое, дескать, сам король Збаситель воздвиг Державный Его Величества Консерваториум, а там виртуозов тьма, и не какая-нибудь акробатика дутья да махания, да ушлость рук, да слепая сноровка, но вдохновение, врата в златострунный рай, затем что есть у них верный путь и ключ к Гармонии Сфер, той самой, что в Космосе беззвучно звучит! Я от старца не отступаю и снова спрашиваю, а тот отвечает: не говорю, что неправда, и не говорю, что правда. Что бы я тебе ни сказал, сказал бы

не то. Иди сам, коли хочешь, и сам убедишься. В талант свой я верил твердо, несокрушимо, ведь стоит мне, роботы-други, взять в руки палочки да припустить частой дробью по барабанной глади, так тут уж не треск, не рокот, не перегуд, не обычное трах-тарарах и тамбуринада, но такая влекущая и певучая песнь, что камень и тот бы не выдержал! Так что пошел я дальше, но, смекая, что невозможно ввалиться с бухты-барахты на филармонический двор с его этикетом придворным, выспрашивал всякого встречного о возвышенных гафнийских обычаях, а в ответ всего ничего или ничего вовсе, гримасы, да мины, да общее колыхание, чем у кого было головой или иным чем-нибудь; так я ничего и не выведал. Однако, шествуя дальше средь звезд, встречаю ублюдище почернелое, и отводит оно меня в сторону: слушай, приятель, в Гафний путь держишь, о, сколь же ты счастлив, и счастлива эта минута, вот уж где вдосталь намузицируешься, Збаситель — добрый государь и могущественный, муз обожатель, он тебя златом осыплет! Что мне злато, отвечаю, как там с оркестром? А он усмехнулся, блажен, говорит, кто в нем играет, за место в этом оркестре я жизнь бы отдал! Как же так, говорю, что ж ты в обратную сторону поспешаешь? Ах,

отвечает, я к тетке, а впрочем, иду далече, дабы нести благую весть о Збасителе, пусть же отовсюду спешат музыканты, ибо открыта столбовая дорога к Гармонии Сфер! Да и к Гармонии Бытия, ведь это одно и то же! Как, говорю, и Симфония Бытия им известна?! Тогда дело стоит стараний! Но точно ли так? А он, тошняк (довольно-таки, правду сказать, сопрелый и вывалянный то ли в коксе, то ли в смоле, поди, пригорел, бедолага, обворонился, или что там еще), восклицает на это: Что ты! Да откудова ты столь темный, дремучий взялся? Так ты не знаешь, что Гафний — не простая держава или монархия, но Держава Нового Типа, или Держаба, а Збаситель не просто монарх, но Гармонарх! Династический разработал он план, чтобы все играли и оным игранном до блаженства бы доигрались; и не как попало, наобум да на ощупь, но манером академическим, теоретическим и классическим, для чего учредил он Консерваторственный Совет Министров и составил Гармонограмму Гармонии Сфер, которую того и гляди откроют и исполнят, если уже не исполнили, так что поторопись!

А что ж это за музыка гармонограммическо-гармоническая? — спрашиваю снова и слышу в ответ: Персону она сопрягает с Природой и пре-

творяет Грез Рой в Рай Земной, так что беги, не мешкай, ведь пособить в таком деле галактическая заслуга!

Бегу, бегу — но, досточтимый тошняк, еще хотел бы я знать, каким это образом держава, то бишь Держаба Гафния заполучила партитуру Сфер и гармонию оных, откуда она у них завелась? Ба! — ответствует мне тошняга, есть у них обычаи древние, указания верные, ведь играть-то они завсегда играли, только не так, не на том и не тем манером, каким надлежит, но теперь они в курсе, и от музыки ихней грудь спирает, дух замирает, очи внутрь, а уши вширь, так спеши же, мой колотун, а то не поспеешь на репетицию!

Позволь, позволь, говорю, я тебе не колотун какой-то, а первой гильдии маэстро из симфонического оркестра, но расскажи, ради бога, еще хоть малость о гафнийских обычаях, чтобы мне там в грязь лицом не ударить!

Ох, некогда мне, отвечает, ступай, да живее, и, право, будешь мне благодарен по гроб!

Пустился я в путь, и вот, когда уже обозначились очертания планета (ибо Держаба — не какая-нибудь женская, простая планета, но мужской, хоть и крохотный, сугубо мужской планет) и показалась Ограда Громадная Мраморная, на

которой горела золотом надпись: «КОРОННЫЙ КОНСЕРВАТОРИУМ», — неподалеку заприметил я деревянную, маслом покрашенную повозку, а на ней — крайне утомленного робота; он искался — страдая, по дряхлости лет, от опилок, вгрызавшихся во все его шестеренки; я помог ему очистить суставы и сочленения, а он между тем что-то тихонько мурлыкал. Я спросил — что, он ответил: Масличную песнь! Не знал я такую. Стал я выспрашивать о Гафнии, он же был глуховат и велел повторять каждое слово четырежды, а потом говорит мне: Ударник! Ты молод, проворен, дюж и ногаст, ты выдержишь многое! Не буду тебя отговаривать от посещения Гафния, но уговаривать тоже не буду. Как решишь, так и сделаешь. — Верно ли, что там играют? — А как же, с ночи до утра и с утра до ночи, однако во всякой стране особый обычай, и вот тебе мой совет: молчи. Что бы ты ни узрел — ни слова. Что бы тебе ни казалось — ни звука. Ни гугу! Воды в рот, язык на замок, немотою запечатай уста, тогда, может статься, расскажешь когда-нибудь, что там увидел, во что там играл! И сколь ни просил я его, сколь ни молил, сколь ни увещевал, он уже ни слова не проронил.

Что ж, вот тут-то я загорелся, и лютое одоле-

ло меня любопытство, хотя не скажу, чтобы в золотые ворота Гафния я стучал совершенно спокойный, ибо чувствовал кожей: скрыта за ними бездонная некая тайна! Все-таки принялся я колотить колотушкой из чистого золота, звон же ее был чуден и бодрил дух, и стража весьма охотно меня впустила и приветливо молвила: Видишь дверь? Вали туда смело. А уже и сени тут были дивные — уже стоял я в густоколонной громаде, сокровищами сверкающей; не сени, а храм, и кругом золотые инструменты висят! Я в дверь; вхожу — и глаза зажмурил, такой ослепил меня блеск — от алебастра, и оникса, и серебра; вокруг колонн чащоба, я на дне амфитеатра стою, о боже, да это пропасть, бездна, знать, веками сверлили они свой планет и в середке устроили Филармонию! Нету здесь мест для публики, только для оркестрантов, кому кресла, кому табуреты, дамастом в серебряный горошек застеленные и рубином присыпанные, и для нот стояки изящные, и плевательницы среброкованые для духанщиков, как-то: трубодеров, трубодувов и фанфаронов, а потолочье брильянтит пауками-подсвечниками, каждый радужно люстрится, и в холодном блеске огней — ничего, ни зала, ни галереи, только в стене напротив оркестра во всю ширину — ложа

одна-одинешенька: красное дерево, с тиснением материя, амуры в раковины дуют, бордюры да кисти, а ложа закрыта портьерой парчовой, а шитье на ней виольное да бемольное, и месяц новый, и гирьки свинцовые, и пальмы в кадках величиной с дом, а за портьерою, верно, трон, только задернута она, и ничего не видать. Но я-то мигом смекнул, что это и есть королевская ложа! И еще вижу на дне амфитеатра дирижерский пюпитр, да не простой, а под балдахином хрустальным, ну прямо алтарь, а над ним надпись неоном: CAPELLOMAYSTERIUM BONISSIMUS ORBIS TOTIUS!

То есть, значит, лучший на свете капельмейстер, или бригадир оркестра. Музыкантов тьма, но на меня никакого внимания, одеты как-то чудно, с пестротою ливрейной и либеральной; у одного икры обтянуты белыми чулками в сплошных фа и соль, но заштопанными; у другого туфли с золотой пряжкой в виде нижнего до, но каблук стесался; у третьего колпак с плюмажем, но перья трачены молью; и не вижу ни одного, кто бы прямо держался, так их тянут вперед ордена, сукном подложенные, верно, чтобы бряканье не портило музыки! Обо всем позаботились тут! Знать, доброй души монарх, меломан щедрый, и сыплются градом награды на господ музыкантов! Протис-

киваюсь несмело в толкучке и вижу — перерыв в репетиции, все разом галдят, а капельмейстер в пенсне золотом поучает из-под своего балдахина алтарно-хрустального. И не палочка в перчатчатом его кулаке — скорее уж палица; что ж, не мне махать, а ему, умахается — его забота. Зал громадный и исключительно, должно полагать, акустичный! Играть разбирает охота... а капельмейстер, застопорив на мне быстролетный взор, молвит приветно издали: а, новичок? Хорошо! Что умеешь — арфач? Что, ударник? Тогда садись вон там, как раз выбыл у нас ударник, посмотрим, справишься ли! — Садитесь же, сударь! — Господин виолончелист, не толкайтесь! — И вижу: беззастенчивая виолончель что-то дирижеру в лапу сует — какой-то пухлый конверт — письмо концертное ему написал, или как? — Впрочем, ведь я ничего не знаю еще... сажусь. А капельмейстер говорит сотне сразу: — Кларнет! Не дыдурыду-выду-дыдудым, а дидуриду-видубидупиим! Это вам не завитушки кремовые на торте, сударь, это виваче, но не МОЛЬТО виваче — или уши у вас дубовые?! А дальше трилли-трулли-фрулли-фрам, и это не фиоритура, здесь надобно вступать *мягше*, ради бога, мягонечко, и веди ровно, но не верхами, тут мягонько, а там

как сталь! И трилли-рида-падабраббам! А вы, медные, тихо, не заглушайте мне пикколо в шестнадцатых, ведь гробите лейтмотив! Не глушите, говорю; так что вижу я, что манеры здесь самые обыкновенные и разговоры в точности те же, что во всех филармониях Универсума.

Сижу я так посреди шума-гомона и осматриваюсь. Сперва глянул на барабан: больно уж странен! Не простой, а капитально усиленный, бока могучие, круглые, тугие, выпуклые, ну прямо бесстыдно-бабские, лазоревые, со шнурами, обшитыми золотым дубовым листом, а уж пленка натянута без изъяна, звончатая, перепончатая, ох, и гулким, поди, перегудом гудит!

Смотрю, а тут и партитуру несут, не обычную, но сущий фолиант, книжищу, в рысью шкуру оправленную, а на конце хвоста — кисть, а к кисти платочек привязан, для отирания обильного пота после финала! Обо всем тут, видать, подумали! И куда ни глянь, алебастры, гербы, грифоны, грудастые музы, кариатиды, фавны, венеры, бомбоньеры, тритоны, бом-брам-стеньги, гроты, прианы, стаксели, брамсели, бизань-мачты, бейдевинды, швартовы — плыви, плыви, музыка! А над королевской ложею герб государства — державный коготь в венце червонного золота,

и колыхнулась портьера ложи, словно сидит уже там Гармонарх, да прячется. От нас?.. Но уже Капельмейстер в пенсне, гибкий, юркий, спешный и вездесущий, внимание! кричит, по местам! И: начинаем! за дело! Все помчались, бегут, бренчливо инструменты настраивают, я — за палочки, а это не палочки, но сущие обухи-дроболомы! Колья гремучие! Прилаживаю ноты, поплевываю в кулак и на партитуру смотрю, как баран на новые ворота, капельмейстер «уно, дуо, тре» кричит, и постукивает, и золотым пенсне посверкивает на нас, и вдруг вступают скрибки... но что это? Хотя и дирижирует капельмейстер, ничего не слыхать, кроме наждачного какого-то скреба... ох, и скребят же эти скрибки... струны, что ли, запакостились? А вот и мой черед, и опускаю я руки, чтобы бабахнуть, и ударяю вовсю, а слышу только «тсстук, тсстук», как будто бы в дверь, смотрю, а барабан хоть бы дрогнул, поверхность какая-то жесткая, гладкая, как пруд замерзший, как торт, ничего не пойму, и снова «стук! стук!», немного будет от этого толку, думаю, а тут оркестр вступает, дребезжит, верезжит, дудонит, долбахает, и вижу — вот те на! — тромбонист тромбону помогает губами «бу-бу-бу», а скребачи губки бантиком и: «тititи», сами напевают, немым инструментам

спешат на подмогу, ну и игра! а капельмейстер вслушивается, и вдруг по пюпитру бац! и молвит: Нет. Ах, не так! Плохо. Da capo[5]. Ну, мы опять, а он из-за пюпитра выходит, и вступает меж нас, и прохаживается, ухом ловит скрип и скреб, а после подходит — улыбаясь, но криво — и валторниста за щеку, словно клещами, ой, так скрутил-закрутил, что игрец дыханья лишился; идет и ухо гобою обрывает походя, и тут же палкой бац! вторую скрибку по голове, зашатался скребач, и платок у него из-под подбородка вылетел, и вызвонил он зубами туш, а капельмейстер тромбонам и прочим шепчет из-под пенсне: олухи! Что за бедлам! И это называется музыка?! Играть, играть у меня, не то Гармонарх проснется, и тогда уж мы запоем! И говорит: как Капельмейстер Дирижериссимус требую! Напоминаю и повторяю: сыграем Увертюрную Симфонию Тишины! Продолжайте силентиссимо, аллегро виваче, кон брио, но и пьяно, пьяниссимо, потому что chi va piano, va sano[6]. А, понимаю, шутка! Шутит с нами, ибо Душою Добр! Говорит: Господа! Валторнист, Арфач, Тромбон и ты, Кларнет Эдакой!

---

[5] Примечания: 5
Сначала (*um.*).

[6] Примечания: 6
Тише едешь — дальше будешь (*um.*).

И вы, Клавикорды-Милорды, больше старания! Медные, плавно! Внимательней, Пикколо, а вы. Виола с Виолончелью, нежнее! А ты, фортепьяно, то бишь Громкотих, следи за сурдиной! Подходит к пюпитру и снова стучит: под Управлением Нашим, по Команде Моей, к Гармонии Сфер, за мною — *играть*! Играем. Однако ж по-прежнему ничего не слыхать кроме стука, скреба и хряпа, ничегохонько! И отправляется дирижер в оркестр, улыбаясь, и мятные леденцы раздает, но кому леденец, тому и палкой немедля по лбу. Головы гудом гудят! С лицом озабоченным бьет и понять нам дает, и точно, мы понимаем, что не своею волею лупит, но чтобы не было ущерба Величеству, бьет от Имени, дабы не допустить какофонии до гармонаршего уха, а лупимый съеживается и капельмейстеру отвечает улыбкой умильной и кроткой, тот же, с равносильной улыбкой, угощает и бац! Ибо не от себя дубасит, но дабы не допустить, уберечь, а может, чтобы худшей трепки, Настоящего Кнута избежать... Знаю, потому что в перерыве судачат игрецы меж собой, друг дружке пластыри прилепляя подле моего барабана: он добрый, наш Капельмейстер, ведь написано ясно: Bonissimus, но вынужден так, чтобы Гармонарх не разгневался,

и вправду, вижу я надпись «Capellenmaysterium bonissimum», ей-ей, славный, говорят, дирижер, и сердце у него золотое, но должен охаживать, чтобы нам кто другой не заехал по лбу! Кто, кто такой? — любопытствую; не отвечает никто. Что до битья, это я понял, однако же с музыкой не могу разобраться, кругом только лязг, и бряк, и дребезг невыносимый, а мы играем себе. Пенсне блистает, бегает, бацает, и, хотя трещат наши лбы, понимаем, что так и должно быть; но тут шевельнулась Портьера Ложи и оттуда выглядывает Пятка Большая, Босая и некоторым образом Голая, но не какая-нибудь уличная, рядовая, а Помазанная, в Коронной Пижаме, из штанины Тронной торчащая, и поворачивается она, и раздвигаются складки портьеры, а за нею храп, и не трон, но ложе в золоте и розанчиках, с отливом дамассе пододеяльник, а на златой простыне Гармонарх, симфонически утомленный, спит, в думку бархатную уткнувшись, спит, и более ничего, а мы под Пятою пьяно, пьяниссимо, чтобы не разбудить. Понарошку?.. Ага, понимаю, понарошечная репетиция! Хорошо, но битье-то не понарошечное? И отчего волоса нет на смычках, а барабан мой вроде старой доски?

И еще замечаю: в самом темном углу зала

— шкаф, величиною с целый орган, черный, огромный, затворенный, а в нем окошечко зарешеченное, и, если случается фальшь позаметнее, мелькает там глаз, мокрый и жгучий, ужасно противный, и спрашиваю я тромбониста, кто там? А тот молчит. Я к контрабасу — молчит. Виолончель — молчит. Треугольник — молчит. А флейта-пикколо пнула меня в лодыжку. Вспомнил я о совете старца и молча уже играю, то есть стучу. Вдруг скрип нестерпимый: отворяется Шкаф в Углу, и вылазит оттуда Некто Пятиэтажный, Черный как ночь, с глазищами что мельничные жернова, и между колоннами плюхается не примеряясь, будто в лесу, и, сидя, разглядывает нас мокро и жгуче. О мраморный зад музы спиной волосатой скребет, другая муза у него под локтем, ну и жуткий же этот углан, как глянешь, так по спине мурашки! Вот тогда-то и стала совсем пропадать у меня охота музицировать в Филармонии Гафния, потому что Углан как начал свой зев разевать, так все раскрывал его и распахивал, а по причине общей громадности и габаритов шло это дольше, чем мне того бы хотелось, в середке же было мерзко до ужаса — и клыки были мерзкие, и язык за ними еще мерзейший, вертляво-слюнявый, и всадил себе

палец в морду Углан Шкафач, и ну ковыряться там, без спешки, однако с усердием. Оглядываюсь — близ меня контрабас и труба, и тоже рот разеваю, чтобы спросить, кто, мол, сие чудовище, откуда и почему, а также зачем, и вообще — с каким смыслом? Но тут припомнились увещания старца, в голове зазвучало: «Что бы ты ни увидел ужасного — ни слова, ни звука, ни гугу», а потому, одумавшись, дальше играю, а поджилки трясутся, слабеют коленки. Различаю ноты, тараща глаза, но неотчетливо как-то, словно мухи наделали, не понять, где квинта, где кварта, пятнышки, кляксы, все расплывается, как сто чертей, — верно, черти и принесли эти ноты, думаю, и тишина воцаряется тактов на восемь, а в ней ах до чего отвратительный звук: едкий, сгущенный, муторный, зубодерный и глоточный сип раздается, Углан зевнул, зубами щелкнул, потягивается, хребет щетинистый трет о задок музы, выглянул из своего угла, принюхался, пыхом пыхнул, а потом и жрыкнул, да, да, жрыкнулось ему, в сей храмовой тишине, филармонически сосредоточенной, ужасно гадостный Жрык, но никто не видит ничего и не слышит! Сидят как ни в чем не бывало! А пополудни празднественный концерт, и Государь Гармонарх восседает в ложе, окру-

женный вельможами звездоносными, и что-то в перстах оперстененных вертит, и сам себе в ухо изволит втыкать, напрягаю взор, а там золотая тарелка, Гармонарх шарики из ваты сворачивает, в маслах освященных смачивает и в уши сует! Совсем ничего не понимаю уже. А мы между тем в фортиссимо так пиловато пилим и так яровито наяриваем, что в окошке с решеткой блеснула как бы слеза, а Гармонарх велит портьеру задернуть, ибо пора ему за дела державные браться. Что же дальше? Господа игрецы! — говорит капельмейстер пенсноватый и бледный, надобно нам посовещаться, покритиковаться взаимно, поскольку это не то, а то не этак, побойтесь бога — где вы, а где Гармония Сфер? вы же Гармонарха в ипохондрию приведете такой игрой! Совещание объявляю открытым! И в то время как я, не разобрав, что и как, все на шкаф зыркаю на всякий случай, они берут слово по очереди и встают, и начинаются длинные прения и дебаты, искрятся от жаркого пыла глаза, критикуется исполнение, смычки, инструменты, трубодеры не то и не так, пальцы неверно поставлены, выучки маловато, недостаточно репетиций, гимнастики не хватает, не усердствуем, коллеги, как надо бы, душу не вкладываем; каждый сам к себе крайне суров, а

уж к прочим не дай боже, нитки сухой друг на друге не оставляют, — все, окромя тромбониста, треугольника и валторны, уж не ведаю отчего. И спорят над каждой нотой, как выжать из нее звучный сок; цель у них общая, я с восхищением слушаю, теорию всякий знает здесь досконально, словно по нотам идет совещание; я все слушаю и смотрю, но тень какая-то пала на нас, шкаф внезапно раскрылся, а там ОНО, черномшистое вшивое брюхо почесывает, палец запускает в пупок — не пупок, а Мальстрема воронка черная! И так вот, сопя, икая, почесываясь, сидит, колупает в носу — с аппетитом, расстановкой и сатисфакцией, озабоченно и сосредоточенно. И вдруг тишина наступает страшная, затем что встает коротышка, приставленный к колокольчикам, и заявляет по пункту повестки «разное»: Господин капельмейстер и вы, Коллеги! Инструменты НЕПРИГОДНЫ, следовательно, ничего получиться не может! Не спорю, с виду красивые, золоченые, однако беззвучные, для того что дефектные; гробы повапленные, да и только. Поэтому вотирую вотум, чтобы дали нам Настоящие, а эти в музей или куда-нибудь там в переплавку. И сел. — *Чта-а-а? Чта-а-а?! Чта-а-а!!!???* — кричит наш добряк в пенсне,

лучший на свете. — Инструменты ПЛОХИЕ?! Не годятся? Не нравятся?.. На Объективные Трудности сваливаешь немощь и недотепистость собственную? Ах ты балбес-лоботряс, общего Дела предатель! Что за гнусное Диверсантство! Мерзавец такой-сякой, Подосланец-Поганец, и откуда ты такой взялся?! Откуда, как? Кто подсунул тебе Преступную Мысль? А может, у тебя заединщики есть? Кто еще мыслит так же? Тишина гробовая, а тут подлетает ливрейный Лакей-лизоблюдок и записочку ему вручает, и читает он, отодвинув листочек от глаз (поскольку в пенсне своем дальнозорок, дабы всех нас держать на виду), и говорит: Значит, так. Объявляю Перерыв, ибо вот мне Повестка ко Двору, на Министерский Совет. Как только вернусь, устрою вам Подведенье Итогов! А покамест труби отбой! Сидим мы и ведем разговоры, мол, скажите на милость, Ваша Смазливость... дело, вишь, тонкое... я, мол, в сторонке... и тому подобные замечания всю ночь напролет. Поутру являются трубачи-фанфаристы и зачитывают Гармонарший Манифест и Указ об имеющем быть специальном Научном Симпозиуме, на коем подвергнутся Комплексному изучению все препонствия на пути к Гармонии Сфер (Га. Сф.). Тотчас нагрянула тьма меломанов,

меловедов, мелодистов, звуколюбов и звучителей с высшей полифонической выучкой, сплошные проф. филар. конц., д-ра тих. муз., действительные академики звука и члены-корреспонденты, и все они шлют куда надо корреспонденцию с надлежащими записями. Сперва записали нашу игру на шестистах аппаратах, рассовав по инструментам микромикрофончики, а мне в барабан даже целый макрофон запихнули, опечатали ленты зеленым воском и красным сургучом, взяли пробы вибрирующего воздуха, осмотрели сквозь лупу нас и каждый угол, а после совещались семь дней и еще месяц. Точность анализов неописуемая! Еще не случалось мне видеть такое нагроможденье науки в одном месте! Все до деталей освещено и согласовано с надлежащих методологических позиций. Его Величество всемилостивейше взяло на себя Высочайшее Шефство над совещаниями, но лично в них не участвовало, а замещал его Вице-Министр Обоих Ушей. В последний же день осьмнадцать Деканных Ректоров хором зачитали Экспертолизу, составленную коллективно с полным исследовательским единомыслием: Комиссия, пишут, выявила отдельные Недостатки. Инструментарий не вполне Полноценен. Там-сям, того-сего недостает, а кой-где еще — еще

кой-чего не хватает; там заковырки, сям растопырки. Тут, в виоле, струны отчасти гипсовые, а там, в контрабасе, полно отрубей. Не так, безусловно, должно было быть, но так оно вроде бы есть. Тут тромбон заткнут, затем что попали туда чьи-то штрипки из пятидесятипроцентного хлопка с добавкой нейлона, второго сорта, а может, иные какие штряпки, короче, рекомендуем прочистку тромбона, а равно почитаем необходимым иметь возле тромбониста трубочистную щетку, дабы последний играл совершенно чисто. Клавимбалы же нашли мы в Целом Пустыми: в середке нет ничего, за вычетом Экс-Птичника для Гусей. Гусли: вместо гуслей обнаружены нами Гуси низкояйцеудойные, подвергнутые Пирометрическому, или Перомерному, анализу, поскольку Оперение затрудняет Гусям бряцание, в силу чего неспособны Гуси чистого звука иметь. Ergo, следует ЛИБО осуществить деперьезацию таковых, ЛИБО, учинив расход из королевской казны, гусельный инвентарь приобресть и гусляром оный укомплектовать, в рассуждении того, что нынешний гусляр по профессии индюкатор, или индюшник. Что же до Громкотихого Фортепьяно, то в нем две меры мышей хвостиками к молоточкам привязаны, в силу чего оно Очень

Тихо Поет, особенно ежели взять в расчет, что кормовой фонд Мышеводом растратно истрачен. Ежели не воспоследует Гармонаршего Снисхождения, в кандалы его. Что же до Треугольника, то должно быть ему Металлическим, а не Бубличным, хотя бы и на дрожжах. Теперь Контра-Басы. Главный Контра-Бас кувыркается при Пассажах, имея заместо Шпоры Шипастой Колечко, и, отъезжая на нем, увлекает, силой инерции, Контра-Басиста, который при каждом Бассо Дольче Профондо вынужден лететь вверх тормашками. И предлагает Комиссия: либо веревкой его, либо вырубить ямку, либо ремешком, либо заклинить, либо, наконец, произвести раскольцовку (расколечивание). Смычкам не помешал бы волос, вместо которого Экспертивные Знатели констатировали лишь Атмо-Сферу, т.е. смесь азота, кислорода и двуокиси углерода, со следовыми количествами благородных газов, как-то: ксенона, аргона и криптона, а также капелькой водяного пара. А равно чуточку Жидкой Взвеси, которая есть не что иное, как Отходная Производная Обкашливания и Заплевывания Игрецами Мундштуковин трубодувно-тромбонских. Тем не менее волос Комиссия полагает более пригодным для играния, нежели воздух, в особенности же

хорошо подходящим для Потирально-Трясушного ерзания по струнам. Таким вот манером тянется экспертиза на тысячу восемьсот страниц, и о барабане там тоже написано, а как же, не обошли вниманием мой барабан: доска размалеванная, колесом сучковатым подпертая; хоть и в золоте, да не барабан. И триста восемьдесят одно предложение разосланы в компетентные органы; в Министерство Труб, Тромбонов и заготовок Трень-Бреня, в Ведомство Сфер, Колоколен и Питейной Гармонополии, Вице-Премьеру по вопросам Безнадежного Положения, а также в Верховную Трубодерную Палату. Сам Лорд-Хранитель Басового Ключа рекомендации печатью скрепил. Как повскакали тут с мест оркестранты да как раскричались, раздискутировались!

Верно! Святая Правда! Не барабан, а обруч старый, пень корявый, навозом набитый; смрадом шибало, а все по причине то ли неведения, то ли нарочитого укрывательства! Флейты, альты, кларнеты, гобои, трубы закупорило, дрянь и хлам, прочь, долой, хотим развернуть извлечение звуков, о дайте, дайте же нам получше что-нибудь, и мы обязуемся заиграть! Тут тряпицей заткнуто, вот, посмотрите, тут мундштук страдает непроходимостью, а тарелки из цементо-бетона,

станиолью только обернутые, ну как этим будешь играть? Смотрю: я ли, они ли спятили, ведь с первого раза все было видно, и откуда горячность такая внезапная, ломаю голову и все не пойму, а в них пылает к музыке страсть и непритворная одержимость. И встает пианист, и, окинувши взором зал, говорит: Вот, пожалуйста, докладная записка, мною в прошлом году составленная, да недосуг было по почте послать; и читает: «Руководствуясь своим суверенным мнением, ради блага Га. Сф. решительно требую вместо Гипсо-Цемента внедрить Дерево, листовую Медь и Латунь, а также Струны звучно-кишечные! Вот что нам надобно, а от той дряни, что мы ныне имеем, не жди ничего, кроме чада!» Садится, чрезвычайно собою довольный, и во Круг, на коллег, торжествующе смотрит, а те шумят-гомонят: Точно! и я, и я, о, мы давно уж приметили, что опилки, и мыши, и цемент, и просто навоз, как и откуда во храме Муз, неизвестно, доложить собирались, усовершенствовать, да вот у меня болела нога, у меня были судороги, я охрип, я точь-в-точь то же самое написал, что пьянофортист, только листок задевался куда-то, а я еще рельефнее выразился, но из-за болезни ТЕТКИ... и все в таком роде, наперебой, однако же вижу, Углан сидит себе в

открытом шкафу на корточках, икает и чешется, трет ножищу о ножищу когтистую, ну прямо натуральный Гориллий; тогда я тыкаю коллег в бока, и показываю, и подмигиваю, вон, туда, мол, туда посмотрите, но те, разошедшись, ни малейшего не обращают внимания, в лестной надежде на лучший звук и жребий. И впрямь появляются четверками музицейские, галунами обшитые, кушаками белыми подпоясанные, и новые, дивные несут инструменты, теперь-то уж мы заиграем! Радость неимоверная! И новый пред нами предстает Капельмейстер, в очках роговых, ибо тот, пенсноватый, отправлен на Пенсию ради Выслуги Лет, и толкуют уже, что ему-де Перепонок Барабанных недоставало, так что ничего он не слышал. Отвинчивают прежнюю надпись и новую золотыми гвоздочками приколачивают: CAPPELMISTERIUM OPTISSIMUM[7], и снова за дело! Сперва, однако, Роговик сообщает: Прогрессивных держусь я принципов. Объявляю Дискуссию. Пусть каждый поведает о сокровеннейших думах, о том, что звучит у него на душе. Пусть откроется! Можете говорить без опаски, Дражайшие, никто у вас волоса не тронет на голове, никто не оби-

[7] Примечания: 7
Лучший капельмейстер (*лат.*).

дит, не надорвет ни раковины ушной, ни связки, ибо я не таков! В чем торжественнейше клянусь, и на Га. Сф. присягаю, и сказанное скрепляю Дирижерской Печатью под Управлением Его Всемилостивейшего Збасительного Величества!!!

И ну все сызнова взахлеб изливаться! Льется патокой красноречие, риторики мед — смычковцы, валторна, скребачи, трубодеры, да так смело, аж дух спирает; сообщают, что кто кому с кем и как, что творилось при пенснеце-дирижере; ох, и плохо же, слышу, о нем отзываются, никогда не пришло бы мне в голову, что они не любили его как родного, ведь сами же бесперечь перед ним в любви изъяснялись и чувства предлагали нежнейшие, а те тугие конверты, не иначе как письма любовные, что совали в его перчатчатую ладонь? Сыновней нежностью дарили его и с носами расквашенными умилялись: он наш голубчик, наш батюшка, по заслугам колотит он нас, и на тебе, память его вовсю загрязняют, глухде как пень, а Контра-Басисты что-де ручищи у него параличом искорежены и одно лишь умел он: лупить по глазам, а глаз-де имел он дурной, монструозный, и взглядом дырки выжигал в барабане, что присутствующий здесь ударник милостиво подтвердить соизволит, — а я, в за-

мешательстве страшном, под нос себе мямлю и бормочу, ведь зазорно так лгать, но вижу, что лгут они от чистого сердца, из чистого энтузиазма врут с три короба, и не могу надивиться, каким это образом непритворное благонравие, добрая воля и влечение к Лучшему могут марать себя такой обовранью, и лжепыханством, и выплевом слюнно-язычным? Ведь они уверяют, будто и порчу он наводил, и у мышей молоко из-за него пропадало, что был он косой, легавый, горбоснедомерок, да еще плоскостопый, а как, мол, с Плоскостопием шествовать к Га. Сф.?!

А Роговик записывает, подпевает, вторит, однако вскоре затем, по возобновлении репетиции, вижу, Что-то к нам шлепает не торопясь, мы в мелодию пробуем спрятаться, но нависла от Лапы тень, и вот уже того Коротышку при колокольчиках, что первый начал, Цап за штаны, а другой лапой Контра-Басиста, что столько на пенснеца наохальничал, Хап за полу, и обоих, ногами болтающих, уносит Оно и в шкафу затворяется, и слышу я сквозь наше Анданте Маэстозо: Хруп-Хруп, Ням-Ням! Только мы их обоих и видели.

Играем, но разлезается играние наше, затем что

темень в глазах! Da capo al fine![8] — кричит Роговик. Плохо, еще раз! Играем, вступает оркестр, по спине мурашки, полный звук и полный тон, но среди этих мурашек другие какие-то, немузыкальные, чувствую да вдобавок путаю ноты, а причиной тому глазотряс от беспрестанного зырканья в угол. Пошло форте, гремят медные, но словно бы пробирает их дрожь, а Гориллище шкаф отворяет, принюхивается, на пороге садится, зычно рыгает, знать, отрыгнулось ему Колокольником, о Боже правый, о Гармония Сфер! А от рыгания — от чего же еще? — съехали в фальшь смычки, а пианист как забарабанит по клавишам, вкривь, вкось, в тряс, в дрожь! Морщится роговой Капельмейстер, словно лягушку проглотил, ох, плохо, такие инструменты, а запороты, скверно, мерзопакость, не музыка, и не совестно вам, лоботрясы, лодыри! еще раз! И раздает нам руководящие исходящие из-за пюпитра, и витамины, и смеси питательные, и приносят заграничный канифолий в бочонках, нарочно выписанный, не жалеет расходов Его Величество Гармонарх, но снова фальшь вкривь-вкось, и вот уже Непременную Ученую Комиссию учреждают.

---

[8] Примечания: 8
С начала до конца! (*ит.*).

Заседает Комиссия, и что порешит, то мигом и исполняется. Входят четверками музицейские в позументах, становятся справа и слева от нас, и кто сфальшивит на фа-диез — премию прочь, а кто на бемоль — вычет из жалованья. И играем мы форте, но фальшь, и по шее трахают нас музицейские, ибо каждый снабжен метрономом и акустрофоном, и от всеобщего траха слабеет симфония, и слышно скорее трах-тампамтрах, чем тирлим-пампам; вижу, в лютую я попал переделку из-за тяги к Гармонии Сфер — вся голова в шишках...

Мало музицейских! Подтягивают резервы, нотоведов-счетоводов несчетные полчища, ко всякому игрецу приставляют поверщика, чтоб за чистотою звука следил; сверяют они тональности, приход и расход и баланс мелодий, строчат, и от скрипа перьев музыки меньше, чем котенок наплакал. О, что-то не так! — говорит роговик-капельмейстер, — не так! И колокольчиков нет. Где Колокольник, куда подевался? Те, что подальше, в смех, а ближние на корточки и бормочут: а ведь нету, действительно нету, испарился он, что ли, а? Может, упорхнул на мелодии? Что скажет начальство? Скверно, понимаем, что скверно! Злобарь, густобрех, балабон, ящереныш, стрека-

нул, ренегад, собака, стреньбрендил, и прочее.

И устраивает нам дирижер совещание с практическими занятиями. Нужно до самых корней дрожальной фальши добраться! И все вокруг признают: Что-то и вправду нам как будто препятствует. Что-то, мол, портит обедню. И что это, дескать, за фантазмы-миазмы мешают нам и с пути к Га. Сф. сбивают? Контра-Басист говорит: Быть может, воздушной вентиляции не хватает? Виолист на это: Полагаю, напротив, что слишком сильный сквозняк. Или, может, уж очень я виолу свою завиолил, оттого она и виляет? Моя вина! А другие бормочут: Возможно, как знать, проверим весь зал, все углы и все эркеры, может, мыши завелись, может, их-то и боится интуитивно подсознание наше? И начинаем искать сквозняки, вентилюфты, затыкаем всякую щель, и мышей тоже ищем, с лупами, на четвереньках, и наконец сыскали трех тараканов, одного паука, шесть блох да вшей пару дюжин; ободренные этой находкой, протокол составляем и давай искать дальше, теперь уже с фонариками электрическими, под эстрадой и во всех закутках, но замечаю, никто не придвигается к Шкафу ближе, как на шесть шагов, я тоже на корточках лазаю, углы обнюхиваю и словно бы ненароком направляю

толкучку, себя вместе с прочими к Шкафу подпихиваю, а там словно бы электрошок, дальше ни на вершок, все единым трясом назад, как черт от ладана, приборматывая: Ага, стена. Известное дело, стена, самая что ни на есть стеночная, в такой, окромя кирпича да песка, штукатурки да извести, нечему быть! А когда я попробовал, приналегши, подтолкнуть их, кто-то, чую, меня отпихивает, а кто-то и в зад укусил. И вот уже откатились мы на более спокойное место. Да еще при откате кто-то всадил мне в глаз палец. Стал я смекать, что они, превосходно все замечая, не замечают вообще ничего, видя все ясно, ничего не видят, и, весьма удивленный такими порядками, удалился на четвереньках.

Играем, а Гориллий хозяйничает. Раз того, раз этого Цап, ну, думаю, не много будет тут музыки, а скрибка рыдает «ах траляля», да и как не рыдать, коль в любую минуту тебя может зев поглотить зловонный? Мы пианюсенько-пианиссимо, и глаза уже застилает туман, а тут смрадный дых «пых-пых» за спиной, ноздри над нами сопят — что Оно, в музыку внюхивается, по варварской натуре своей и общей неудобопонятливости? или как? И что с того, что звучны инструменты, ежели Гориллище нас дегустирует да пробует на

зубок? а Гармонарх является в ложу и говорит: Ну, хорошо. Мелодия, в целом, вполне мелодична, и довольно-таки гармонична гармония, но духа в ней еще не хватает. Без Веры Играют, наперебой, нет тут ни ладу ни складу. Не Убеждает ваша игра! И к тому же какая-то дрожь поросячья. Это что за озноб трясучий в музыке вашей засел, изнутри симфонию портит? А ну-ка, вытребовать мне Искусных, а прочих вон со двора, и вообще, живей у меня — гитарить, здрунить, скрибеть, мандолинить, тромбонить, но в такт и в тон, а не то Гармонарх осерчает! Набрался я тогда смелости и в перерыве между Анданте и Аллегро Виваче говорю Басисту, что рядом сидел, и крупный его инструмент обоих нас загораживал: Послушайте, Ваша Честь. А он мне: Что? Я: Зрите ли нечто в том углу, близ Гармонаршей Ложи? Он — ни звука. Я: Ужели Углана не примечаете? Не может такого быть! Видится мне Гориллище вылитое! Ведь это от него на нас смрадом разит! Вот и опять икает! А тот ни звука, но вижу: словно бы расплывается фигура его перед моими глазами. Я говорю: Ведь вы, ваша честь, ни бельмом, ни двойной катарактой не покалечены, и имей вы даже застарелые мозолины на глазах, довольно было бы потянуть носом и собственному нюху довериться, чтоб зло-

вонье почуять. Ведь над нами не купола тень, но Носа Гориллиева, а это не столб, но клык, и всех нас оно пожрет одного за другим! Тот — ни звука, только перед моими глазами весь расплывается, и вижу, что это Дрожь его одолела. Страшливость трясет его и колотит горячечно, однако он отвечает: По чести, вы играли изрядно, однако когда я дохожу до Трели-мели-дири-будидам, вы должны не Дуда-дадапам, но Бум-дум-бадам! Однако, слыша эти его слова, одновременно слышу я и другие: Бога ради, молчите, сударь! И если одно говорит он устами, то другое словно бы низом, примерно от пояса, и вижу, что это он, значит, брюховещает! А теперь, молвит он верхом, хватит лясы точить, пора за работу...

Присматриваюсь получше и вижу, что всякий здесь так: кругом всеобщее брюховещание процветает, а я-то думал, что это урчанье-бурчанье со страху! Стал я все ниже и ниже вслушиваться, и на уровне живота слышимость много лучше. И говорят животы: Ох, долюшка-доля, была б наша воля! Эх, давно бы все по кустам разбежались от этой Гармонии! И шепчут животы: Онучи Збасителевы черти похитили, пусть себе портки обмочит, не сыграть нам, как он хочет. А также: Тише, тише, ваша честь, Кто-то Страшный ходит

здесь, фигли-мигли-шмогли-швах, только хрупнешь на зубах. И судачат промеж собой животы: Что за чудная игра идет здесь на нервах наших! А один живот говорит, авось мы ему приедимся, или, может, со временем перейдет Оно на вегетарианство, мол, время смягчает нравы, но прочие животы тотчас же на него разбурчались. И одновременно восклицают верхами: Что ж, недурно, почти что дивно сегодня, только бы поскорее до Га. Сф., только бы поскорее... пусть смычковые от темпа не отстают! Или плохо нам тут, ламца-дрица?! И вижу еще, что у всех какие-то занятия на стороне, один на гребенке премило дудит, другой на травяном стебельке комплименты насвистывает, тромбон собирает марки и слезы оными утирает, кто вышивает монограммы, кто языки изучает, как вдруг шлеп-шлеп, и идет Гориллище, страх смертный, но Оно только травку, гребенку, марки забрало и в шкафу Хруп и Ням-Ням. При оказии тромбон получил тычка, примочкой свинцовой и творогом глаз подбитый обкладывает, и вольно же было ему, говорят животы, об онучах этих мычать, лучше б за место свое покрепче держался, чем животом хорохориться! Тише, тише... И впрямь так тихо шепчут, что не знаю, чье это брюхо ве-

щает, валторнист продает таблетки от нервов и головной боли. Басист ловит моль, что завелась в барабане, треугольник учит, как чесаться между лопаток и ниже, тогда-де мурашки не столь докучают, иные друг на друга доносят, мол, в нотах фа, а он фа-диез, капельмейстер требует чистоты лейтмотива, бемоль, дуралей, «бе-е-емоль», или партитуры не видишь? — подымается пыль, это смычковые перелягались из-за бутылки для играния частным образом, на стороне; мелодия замирает, как писк мышиный, а может, и вправду мыши, иначе откуда здесь пикий диск, то бишь дикий писк? О да: фальшь сплошь, так и идет, от скуки до дрожи и от скулежного хныка до тряса, с утра инструменты драим тряпицами, канифоль в ход, замшей барабан до полного блеска, и вот прибегает лакейчик и Роговатому записку сует, а тот: Ага, говорит, вызван я на Министерский Совет в связи с Главнейшим Руководящим Мотивом, поскольку нечисто играете; репетиции откладываю до вечера! фагот, который как раз ему конверт подавал — уж такой тут обычай, — как будто раздумал: прячет конверт в карман и спешит обратно. И новый пришел дирижер, востроглазый такой, без очков, и при нем дознались комиссии, что тромбон припрятывал звук

подобротнее и не расходовал по надлежащей статье, за что и был переведен в Ложу и назначен Вице-Министром Считанья Ворон, у арфиста же выявили сухорукость, и оказалось к тому же, что нот он не знает, а потому перебросили его на фортепьяно, чтоб не слишком переживал. Снова явилось Гориллище на инспекцию, я смешался и как бабахну фортиссимо, не по барабану, а по мозоли мизиночной, о боже, боже, рябь в глазах, ноги врозь, пятки вкось, а все оттого, что слышу Шлеп-Шлеп, Хруп, Ням, зыркаю глазом — нет уже, нету флейтиста! И слопало Оно его посредине Гала-Концерта, пред Гармонаршим Величеством, в алмазном сиянии люстристом, и Августейший Збаситель не в пижаме, но в Горностае сидел, как же так, себе думаю, прямо на глазах Гармонарших смеет нас уплетать, ну, теперь-то уж быть не может, чтобы не заголосили они, чтобы хором не завопили, может, падут на колени, может, кинутся вроссыпь, может, всем скопом на Чудище, но чтобы совсем ничего никогда не поверю. Но то-то и есть, что ничего! С этого все и пошло, потому что так приуныл я, что больше по коленкам и по мозолям своим лупил, нежели по барабану, и от такого битья начала во мне закипать великая злость, чувствую, еще одна капля, и не стерплю

с таким капельмейстером, право слово, все одно пропадать, разрази меня ржа, мало того, что жизнь веду без надежды и милосердия, так еще и без музыки, ну какая же музыка с Гориллищем над душой. Струны бы перерезать этим смычковым, и динамиту в трубы, в валторны пороха и фитилей, да где там, пилим до самого вечера.

Но снова Придворный Концерт, Оркестр жарит и шпарит, а Гориллище, присевши на корточки, ищется у всех на глазах, в бездонной морде своей ковыряет пальчищами, и если сморкнется, так сморкота дождем на нас, и темень, как в майский ливень, а коли кашлянет, так словно гром громыхает, оркестр перекрывая в форте, а те все играют. Скрипка стенает, изнемогает валторна, тромбоны дудли-дудли на бадудли, ан прямо передо мною лапища волосатая Цап, и нету Басиста, хоть и берегся он, и стерегся, так что же это за музыка, ежели все мы — Миска с Закусками? а Гармонарх в ложе сидит, веерами обмахиваемый, венками венчаемый, глубоко почитаемый, и говорит он сквозь зубы: Не та еще музыка, что должна быть. Нет еще Веры, Правды, Надежды, Любви, нет Гармоничной Темы Истории! Выше, смелее, вперед, почему Капель-Мейстер так мерзко размахивает, хотя Без Очков он и Востроглаз?! Быстрее!

Лучше, резвее, ибо Гармонарх недоволен, маловеры проклятые! Как смеете вы сомневаться в Га. Сф.?! А? Или, может, поглубже копнем? Что? Пусть всякий смело, напрямик, без боязни и без Опаски откроется Нам, ибо Мы Всемилостивейшее Величество, Веры и Доверия Августейший Сосуд, пусть же встанет и сбрешет собака этакая, этакой сын, с какою он целью Совершенство подтачивает да подкапывает? Мы ему ничего на это, мы его уговорчиками-ликерчиками, мы ему добром растолкуем, где раки зимуют! Тишина, как в могиле, замерли все, только Гориллище вдруг ХАБДЗИХ И ХАБАБДЗИХДЗИХДЗИХ!!! Зал задрожал, и стон испустили колонны мраморные, и эхо в моем барабане отозвалось, и даже упала щепотка известки на Высочайшую главу Гармонарха Збасителя, и пылью припорошило царственный лоб. Но король словно бы ничего не заметил. Не слышал, не шевельнулся даже. Игрецы вколенились коленками в грудь при громовом громыхании этого Чиха, а король хоть бы что. И думаю я: О, страшная это, похоже, афера! Не может Сам Гармонарх Угланского не видеть Гориллища, однако ж не видит. Не мог он на собственном царственном лбу не почувствовать Извести Штукатурной, однако ничего ровным

счетом не чувствует. Так что же это значит? Кто хозяин, кто слуга? Неужто Гориллище — Клыкастый Капельмейстер Збасителя? и на закуску его оставляет, приберегает на сладкое? Или же оба тайным альянсом связаны против нас? Ничего не пойму, одно только знаю: дать бы Драпа, да поскорее, но как?

После второго отделения, в перерыве, выходит Гориллище из Шкафа и между нами прохаживается. Скука, что ли, его одолела? Открывают совещание, и пошли игрецы балаболить, требуют слова, принципиальную наводят критику, а Гориллище у одного обнюхало уши, другому галстук поправило, у третьего слопало текст доклада и тотчас, сконфузившись, присело на корточки, а на ходу сплевывало в плевательницы серебряные и наплевало — может, и по ошибке — в тромбон. А балабольные златоусты по-прежнему мелют о Га. Сф., даже пот струится со лба, играть — увольте, играть не могут они, зато сколь чудно, с каким вдохновением и верой в Га. Сф. способны о совершенстве игры толковать! Когда же мне балабольство ихнее и хожденье, сопенье, почесыванье Гориллиево под последнее саданули ребро, случилась со мною одышка, и мрак в глазах, и попросил я слова: а Гармонаршье Ве-

личество из ложи приглядывалось ко мне, затем что курировало Совещание и лично оное почтить Соизволило Высочайшим Присутствием. Встал я с такою сентенцией, что, ежели б описания музыки имели свойство звучать, непременно распростерлась бы в Гафнии воплощенная Сфер Гармония; и чую отчаянность в себе небывалую, и во всеобщем Silentium[9] говорю громко: А что это за чудище-ублюдище шастает и слоняется здесь на каблукастых ножищах, и шлендает, и топочет, и тошноту наводит одним только видом? А по какому такому праву сей Шкафный Углан беспрестанно в музыке нашей шарит и оную сквернит своею сквернотиной, а также обжорством? А слыханное ли дело, музыкантов почтенных сырыми жрать, да так, что уши чешуйчатые трясутся, а кадык ходуном ходит? А где это видано, чтобы были Комиссии и полные доктора тих. муз., ученые экспертизы, и ревизоры, и контрревизоры, и микроскопов скопища, и никто ничего, ни гугу, все на корточки да на корточки? А раз так — я, тут и теперь, заявляю: Veto[10], Государь Гармонарх, и Veto, государи-собратья, и Veto еще раз, нету согла-

[9] Примечания: 9
Молчании (*лат.*).

[10] Примечания: 10
Запрещаю (*лат.*).

сия моего на тебя, Гориллище Гнусное, и пока ты здесь, дерьмо у нас будет, а не Гармония Сфер!!!

Что тут было, милостивые государи! Одни силились влезть в инструменты свои и там укрыться, но вам понятно, я полагаю, что если это еще входило в расчет в случае контрабаса или пьянофорто, то о флейте нечего и говорить, а уж треугольщик, вконец ошалев, пролез в треугольник, и тот висел на нем, словно ошейник, позванивая от зубов его щелканья. Другие же залезали под стулья или царапали пол, чтобы вырыть хоть ямку, но при дубовом паркете какая может быть ямка для страусиной политики! Медник-тарельник, зад заслонивши тарелками, бумкал в мой барабан головой, так его в середку тянуло, однако же импортная добротная перепонка выдержала. Капельмейстер, чтобы меня перекрыть, лупил во всю мочь по дирижерскому пульту, с поросячьим взвизгом «анданте анте ранте адаман-те таяте», ибо все уже у него смешалось, а Его Величество Гармонарх из Ложи своей, почитаемый великим почетом, зашептал что-то быстро лакеям и челяди, и давай они портьеру задергивать, дабы та парчою, Дамаском, тисненьем гербовым отгородила от нас короля, а Гориллище сперва хоть бы что, трескает только да чавкает,

жрыкая, — все ему арфистом отжрыкивалось, который был жирен и тучен весьма, — а потом, приподнявшись, как забасит, хрипло, мерзко и рыковато:

— Ка-блу-ка-стый? Это кто же? Мо-я-свет-лость?! Ах?! Мне ли тут по-о-хо-хо-хо (заплакал) зор учиняют? Меня ли тут в чем-то ду-у-ху-ху-ху (заплакал) рном обвиняют? И никто меня ни сло-о-хо-хо (заплакал) овом единым не защитит? Проклятье! Спасите меня, детинушку-сиротинушку, меня тут шельмуют, мне тут афронт, мне тут обида, мне тут поношение, худо мне тут, я к мамочке, к нянюшке хочу! О-хо-хо-хо! У-ху-ху-ху! (рыдал уже грозовым водопадом) — ты мерзкий вшивец-паршивец! Би-ток не куль-тур-ный! Баклуш-ник! О-хо-хо! Не любишь меня! А я-то думал, что все меня тут, все до единого любят.

Сначала я было речи лишился от удивления, но после собрался с духом и говорю: Сударь Гориллий! Поистине, трудно любить того, кто Угланом Шкафонским из укромного Шкафа то и дело жутко вылазит и рыскает, словно рысь меж овец, кости ломает, тромбонистов жрет, флейтистами закусывает, а потому невдомек мне, как это ты не видишь каннибально-музыкального своего лиходейства? А вы, — говорю,

— господа грамотеи, фрачистые, табачистые, бородатистые, и ты, черно-смокинговый доктор тих. муз. с трубкой, — не научная ваша наука ученая! Метрономов тут понаставили, резонаторов, абракадабр и альфацентавр, муку рассыпали в воздухе, чтобы зависала, летая, и Стоячих Волн выявляла узлы! Экспертолизы строите, тон и такт метром меряете, а Гориллища не видите! А Его Величество Гармонарх пусть изволит занавесь свою отзанавесить и некоторым образом растолковать, на каком таком основании допускается здесь сыроядение на месте, а также на вынос в Шкаф?! Ибо вошел я в азарт и мне уже все едино. Ученые, вижу, достают тюбики с синдетиконом и пробуют Специальными Словами отделаться, как-то: Delirium Tramtadremens, или Бред Колотунский, Psychopathium Musicales cum Hypnagogica Confusione Debilitatissima[11], но Гориллище как зарычит! Слезы горючие льет, и ручьями текут они по ступеням амфитеатра; а потом как махнет одним махом горилльским к Збасительской Ложе, как на шнурах повиснет да как вцепится в дамассковую парчу, — тут уж сам Гармонарх изрядную Конфузию выказал, в углу

[11] Примечания: 11

Музыкальная Психопатия с Наводящей Сон Путаницей Глупейшей (*лат.*).

на корточках съежился и чрезвычайную ведет консультацию с Советом Министров, а Гориллище морду в Ложу сует и: спасите, В.Величество! — восклицает, — спасите меня, горемыку ославленного, а не то я пойду и уже не вернусь!

Вскочил Гармонарх при этих словах и криком вскричал: Только не это, ах, не это, Надежа ты Наша, Опора, Дружок Любезный, Только не ЭТО! Сделай же сам, сам знаешь что, изволь понять, Милостивец, что Нам сказать такое в Мягкосердии Нашем, Многажды Царственном, не пристало, а тебе ничего не стоит. — А вот нет же! — Гориллище отвечает, носом жутким пошмыгивая, так что сопли текут по страховитым щекам, — вот нет же! То, что делал я, делал на службе В.Величества, согласно персональному списку. Нарочным из Ложи доставленному через Окошечко Шкафное, выхватывал я строго по предписанию и согласованно потреблял, однако Весьма Неохотно, затем что я Игрунишками Брезгую и, жизнью клянусь, ни единого в рот бы не взял! Всех до последнего ел с отвращеньем, наперекор своему Естеству, себе вопреки, единственно ради Трона, Отечества и Высших каких-то Сфер, ибо я Углан неученый и на знаю, как их там звать, и желудка, здоровья, печени своей не щадил, хотя от провизии этой

прогорклой желчь запеклась, и расстройство случилось, и жжет беспрестанно изжога, однако же я беззаветно стоял на посту и поэтому требую, чтобы оный Облыжник со своею Гремучкой за шельмование Персоны моей, по природе добропочтенной, добродушной и преданной, немедля был В.Величеством собственноручно по заслугам наказан, а не то я пойду себе прочь, и увидите, В.Величество, что останется от Музыки Вашей!

И ну Гармонарх умолять да упрашивать, гладя преподобными своими Руками Чудище по мохнатому лбу, а Углан Шкафарь, на портьере повиснув (которую оборвал он вместе с частью деревянной обшивки), — отказываться, да препираться, да пикироваться, усиленно акцентируя ранимую деликатность своей души, так что я от изумления опешил. А Гармонарх шепчет: Знаешь что, Любезный Оплот Наш, Верно Нам Преданный? Мы пока временно Облыжника этого, вместе с поклепищами его, всемилостивейше помилуем, и Мы ему Crimen Laesae Gorillionis[12] на время простим, имея в виду, что он немедля и безусловно свои клеветушные враки обратно врыгнет, признает свое негодяйство и собравшимся разъяснит, что

[12] Примечания: 12
Нарушение закона об оскорблении Гориллия (*лат.*).

действовал в качестве Диверсионария, подстрекаемого иззарубежно, за серебреники Иудины, и задание имел Мелодию Обляпать, а Гармонию Сфер облевать и через то уничтожить! Говорит, а сам Шкафону вовсю подмигивает, и смекаю я с лету, что такое прощенство не более чем отсрочка казни, и восклицаю, барабаня в цезурах: Чудовище собою чудовищно! Чудовищности полно, как вошь меда, и смердит к тому же, как Сто Чертей! И даже если б никого не жрало, а только икало да в углу угольно угланилось, от одной лишь вони Игре Труба! Так говорю и ничего не врыгну, разрази меня Барабан!

Полный тупик.

Оркестр вылезает из контрабасов, тромбонов, фортепьян, из-под диванов, одни еще уши по инерции затыкают, другие уже поднимают головы, а животы их, будучи посмелее, хотя и лежат плашмя, отзываются: Это факт, жрал, жрет и, кто знает, может и дальше будет нас жрать! И в самом деле, такое пошло, что господь сохрани! А Гориллище, как сапог тупое, не поняло хитрости, укрытой в речи Збасителевой, и говорит: Ах, ох, мне тут обиды чинят, я тут полжизни убил на таком горболомстве и вот что получаю в награду, хватит с меня шельмования, иду себе прочь и

дальше, куда глаза глядят!

Позеленел на это король. — Ради бога, — восклицает в крайнем отчаянии, — а что же будет с Га. Сф.?! Не забывай, Любезный, о Гармонии Сфер, ведь мы к ней всем миром, плечо к плечу, а Ты соль движения этого...

— Э, там, — отвечает Гориллище темное, — я свое сказал, а теперь пусть Ваше Величество грызется само с музыкантами!

И прямо к дверям выходным разворачивается. Гармонарх при этих словах сам мартышкой сползает в партер по портьере и вприпрыжку за ним, плачась в плащ и жилетку. — Единственный, милый мой, верный! — кричит. — Не покидай Нас! В распыл Колотушника пустим, только вернись и прости!

Гориллище туда, Гармонарх сюда, и пока они так меж колоннами кризис правительственный исполняют, пока Министерский Совет за ними гоняется, а над Обер-Порученцем для Интересных Положений оборвался шнур золотой с кистями и по голове его шмякнул, каковую гармономедикам пришлось немедля сшивать, словом, когда такой учинился гвалт, я вдоль стенки к алебардистам, а те, заглядевшись на притопы королевско-угланские, ничего не видят вокруг, я за ручку дверную,

и в сени стремглав, и, мимо инструментов чудесных, к внешним отворенным воротам, а из оных выбежав, государи-братья, такую Тягу почуял, что без форсажа, больше скажу — вообще без ракеты взял и взлетел, только меня и видели, однако ж по курсу не смог удержаться, так меня колотило, и врезался в какое-то Облако, крайне холодное, и сделалось мне даже приятно, разгоряченному; потом зазнобило изрядно, но с разгону свернуть я уже не мог и вмерз в охвостье оной кометы, леденея и всякое теряя сознание. А что было дальше, до самого пробуждения, ей-ей, не ведаю!

Закончив, барабанщик прижал к груди милый ему барабан и как будто лишь для себя самого да еще для муз тихонько пробарабанил экзотический, унывный мотив. Слушатели зашевелились, и наконец Трурль сказал:

— Необычайная это была история, и я рад, что волею случая удалось мне такого артиста вызволить из ледовой тюрьмы! Я знал, о, я был уверен, что мы проведем время с немалой обоюдною пользой, поскольку каждый из нас, будучи родом из разных краев, может наставить и позабавить других по-иному — ведь наставление с забавою нераздельны! Но теперь твой черед, почтенный Андроид, так что изволь рассказать нам, какими

судьбами попал ты на скромную нашу планету...

Андроид не стал отказываться, а только заметил, что его история не может сравниться с историей барабанщика, ибо он не артист. Тут барабанщик, Трурль и машиненок принялись его уверять, что достоинство различных жребиев не поддается сравнению, так что гость, поупиравшись немного ради приличия, отхлебнул из бурдюка, откашлялся и начал рассказывать.

Рассказ Второго Размороженца

С радостью предстаем мы в собрании столь благородном, дабы поведать нашу историю, хотя она и является государственной тайной. Мы откроем ее, движимые благодарностью, которая выше соображений государственной пользы. Эта полная замерзшей цикуты чаша, которую добросердечный Трурль вылущил из нашей окостеневшей десницы, должна была лишить жизни не одно существо, но целые миллионы. Ибо мы не тот, за кого вы нас принимаете. Мы ни робот, ни хандроид, что легкомысленно прибег к яду, ни, наконец, простейший, именуемый чиавеком, хотя с виду и впрямь на него похожи. Но это лишь видимость. И мы говорим о себе во множественном числе не из-за претензий на

Pluralis Majestatius[13], но по грамматической исторической необходимости, которую вы уясните себе к концу нашей истории.

Началась она на блаженных побережьях планеты ЖИВЛЯ, прежней отчизны нашей, прозванной так по причине своей живоплодности. Там-то мы и возникли, способом, о котором не стоит особенно распространяться, ибо Природа употребляет его повсеместно, питая извечную склонность к автоплагиату. Из моря ил, из ила плесень — известная песня, из плесени рыбки, что повылезали на сушу, когда стало им тесно в воде; испробовав тьму всяких штучек, где-то по дороге они озверели, и возникшие таким способом ПЕРВОЗВЕРИ доковыляли до прямохождения, а затем, отравляя друг другу жизнь, до разума, ибо разум заводится от забот, как чесотка от зуда. Иные из первозверей позалезали потом на деревья, когда же деревья высохли, пришлось им в немалом горе слезать обратно, и от этого горя они еще поумнели — увы, на вероломный манер.

Не стало древес и постной пищи, и вышли они на охоту; и как-то один из них, грызя окорок, заметил, что у него лишь голая кость, а у другого

---

[13] Примечания: 13
Обращение во множественном числе к августейшим особам (*лат.*).

есть еще мясо, и заехал он тому костью по лбу, и мясо забрал. То был изобретатель дубинки.

Через неизвестное время после того появился Завет. О его происхождении живлянская мысль выдвинула восемьсот различных гипотез. Мы же считаем, что Завет появился, чтобы несносное житье сделать сносным. Скверно жилось нашим праотцам, и были они на это в обиде — но можно ли быть в обиде на Никого? — а значит, в каком-то, чрезвычайно тонком смысле религию породила у нас грамматика, подкрепленная воображением. Если здесь нехорошо — хорошо где-то там, подальше. Если такого места найти нельзя — стало быть, оно там, куда не дойти ногами. Ergo, могила — это копилка. Положив в нее праведные кости, на том свете за воздержанность получишь с лихвой — в вечностной валюте с Господним обеспечением. Однако втихую праотцы наши нарушали этот Завет, полагая не вполне справедливым, что самое лучшее зарезервировано для покойников. Теологи опровергли эти сомнения тремястами способами, о коих мы умолчим, а то нам и тысячи ночей не хватило бы.

Предки наши облегчали свой тяжкий труд всяческими штуками и махинациями, от которых пошли махины, махавшие за них цепами, ну, а

где цепы, там и колеса, а где колеса, там и биты — я упрощаю, конечно, но иначе нельзя. Смягчая так мало-помалу свои невзгоды, они попутно узнали, что Живля шаровидна, что звезды суть узелки, на коих закреплен небосвод, что пульсар — икающая звезда, а живлян породил ил (это удалось даже воспроизвести в особливых выводильнях через каких-нибудь тридцать тысяч лет от высечения огня).

Итак, телесный труд был отдан на откуп всяческим самодвигам, которые при случае годились и против соседей; однако еще оставалась тяжкая умственная работа, а потому измыслили мы мыслящие за нас механизмы, как-то: мыслемолки и мысльницы, перемалывающие мир в цифры, а потом отделяющие зерна от плевел. Сперва строили эти машины из бронзы, но за ними приходилось приглядывать, что также утомляет; поэтому вывели мы из обычных зверушек цифроядных мыслюшек, что жили-поживали себе у желоба, предаваясь запрограммированным компьютациям и медитациям. Так доработались мы до первой в нашей истории безработицы.

Освободившись от тяжких трудов, имея множество времени на размышления, приметили мы, что не все идет так, как должно бы: ведь отсут-

ствие нужды еще не блаженство; и принялись мы практиковать Завет наизнанку, вкушая каждый из помянутых в нем смертных грехов уже не с трепетом и не втайне, как встарь, но вызывающе, явно и с возрастающим аппетитом. Опыты показали, что большая часть оных не особенно привлекательна, так что на заре Новой эры мы всецело переключились на грех, обещавший больше всего, а именно — грех Облапизма, или Ложства, с такими его разрядами, как Чужеложство, Многоложство, Самоложство и прочие. Этот довольно-таки убогий репертуар мы обогатили рационализаторскими идеями; так появились облапоны, любвеобильные суперлюбы, половицы — пока наконец каждый живлянин не обзавелся в своем содомике полным комплектом блудных машин. Церкви, отнюдь не одобряя происходящего, закрывали на это глаза, ибо на крестовых походах давно был поставлен крест. По части прогресса лидировала первая держава Живли, Лизанция, которая крылатого хищника в своем гербе заменила, путем плебисцита, Порноптериксом, или Блудоптахой. Лизанцы, купаясь в благоденствии по уши, распускали все, что еще не было совершенно распущенным, а остальные живляне тянулись за ними по мере местных

возможностей. Девизом Лизанции было: OMNE PERMITTENDUM[14], ибо всехотящая вседозволенность лежала в основе ее политики. Только живлянский медиевежда, что перелопатил наши средневековые хроники, сумел бы понять всю неистовость сокрушения прежних запретов: то был реактивный выброс в направлении, обратном стародавней аскезе и набожности. Однако же мало кто замечал, что живляне по-прежнему следуют букве Завета, хотя и навыворот.

Писатели прямо из кожи лезли, основывая грехопечатни, дабы наверстать многовековую отсталость, и печалились только о том, что никто уже не преследует их за смелость. Гимн молодежи, шествующей в первых рядах радикалов, звучал, сколько мне помнится, так:

Кирпично-медным
Сияя лбом,
Мы маму — в яму
И кол вобьем.
Потом на папу
Наложим лапу,
Сдадим на слом.

---

[14] Примечания: 14
Все дозволено (*лат.*).

Сдохни, мать!
Папаша, сгинь!
Папе с мамою
Аминь!

Умственная жизнь процветала. Из забвения были извлечены труды некоего маркиза Де Зада; они стоят особого разговора, поскольку повлияли на дальнейший ход нашей истории. Двумя веками ранее палач изгнал Де Зада как мерзавтора-писсуариста; его писания предали огню — к счастью, предусмотрительный маркиз заранее заготовил копии. Этот мученик и предвестник Грядущего провозглашал Сладость Гадости и Святость Греха, и притом отнюдь не из эгоистических, но из принципиальных соображений. Грех, писал он, бывает приятен, но грешить надлежит потому, что это запрещено, а не потому, что приятно. Ежели есть Бог, следует поступать назло Ему, если же Его нет — назло себе: в обоих случаях мы выказываем всю полноту свободы. Поэтому в романе «Кошмарианна» он выхвалял копролатрию, то есть культ дерьма, освящаемого на золоте под звуки благодарственных песнопений, ведь если бы его не было, объяснял он, следовало бы его непременно выдумать! Несколько меньшей

заслугой представлялось ему почитание прочих отбросов. В вопросах семьи он был человек принципов: семью надлежало извести под корень, а еще лучше — склонить ее к тому, чтобы она сама себя извела. Эта доктрина, извлеченная из глубины веков, была встречена с восхищением и почтением. Лишь простаки цеплялись к словам, утверждая, что Де Зад ПРЕДПОЧИТАЛ помянутую субстанцию родным и близким, но как быть, если кому-то милее все же семья?

Лицемерие этих критиков изобличили задисты, ученики и душеприказчики маркиза, опираясь на теорию доцента Врейда. Сей душевед доказал, что сознание есть зловонное скопление лжи на поверхности души — из страха перед тем, что в середке («Мыслю, следовательно, лгу»). Однако же Врейд рекомендовал лечение, вытеснение и окончательное прекращение, тогда как задисты призывали к демерзификации путем наслаждения до пресыщения, а потому учреждали выгребные салоны и тошнительные музеи, дабы там потрафлять себе и своим ближним; помня же о заветах Де Зада, особенно культивировали эту последнюю часть тела. Как говаривал видный активист движения, доцент Инцестин Шортик, кто задов не знает, тому и наука не впрок, а жив-

лянин-де задним умом крепок. Поскольку тогда уже много шумели об охране среды, задисты загрязняли ее сколько было мочи. Кроме копрософии волновала умы футуромантия. Пессимизм, столь модный в конце прошлого века, ныне высмеивался, ведь на одно рабочее место, теряемое вследствие роботизации, приходилось двадцать новых. Появились неизвестные прежде профессии, к примеру, оргианист, стомордолог (умел мордовать на сто ладов), триматург (драматизировал по заказу семейную жизнь, выстраивая супружеский треугольник), экстерьер и секстерьер (первый был просто экс-собакой, а второй занимался содо-мистикой, разновидностью автомистики, то есть составления священных обетов, исполняющихся автоматически). Даже физики, уступая моде, снабжали свои аппараты порноприставками.

За этой Реформацией в скором времени последовала Контрреформация, поборники которой обвиняли эпоху во всех грехах и совершали налеты на банки спермы и непристойной ферритовой памяти. Кроме этих взрывальцев были еще анахореты — глашатаи Возврата в Пещеры, в частности, Вшавел и Ржавел, которые проповедовали грязнолюбие и сквернодение, коль скоро

вокруг все такое стерильное и лакомое. Что же до прекрасного пола, то он взбунтовался тотально. В качестве идеалов женственности передовички движения предложили блудонну и свинкса, трактуя древние мифы на эмансипаторский лад. Все это вело к нарастанию хаоса, однако живляне в своем большинстве продолжали верить в науку, которая бестрепетно исследовала любое явление, — хотя бы оргианистику, которая стала формализованной дисциплиной благодаря введению единиц, именуемых оргами (а в случае некрофилии — моргами), и изучению тонких различий между бабистом, бабителем и бабашником, а также брехопроводом и грехопроводом; итак, наука все подвергала классификации и ничему не дивилась.

Впрочем, на ее счету было немало славных свершений. Именно в это столетие на выручку обычной инженерии пришла генженерия.

Начала она с создания диковинных гибридов (к примеру, дамы и самоката, в результате чего возник Дамокат), а затем принялась и за самих живлян. Дальше — больше, и вскоре разразилась Телесная Вольность: в генженерных бюро принимались заказы на тело любой формы и назначения. Поэтому некоторые историографы

делят всеобщую историю Живли на эру идеальных войн, в которых бились за идеалы, и соматических войн, в которых сражались за единственно верный телесный стандарт. Впрочем, учение маркиза Де Зада плодоносило по-прежнему. Новейшая космогония утверждала, что другие космические цивилизации не обнаружены доселе единственно из-за гнета ханжеских представлений: считалось, будто такие цивилизации заняты выдаиванием солнц, расходуя звезды с бережливостью лавочника. Что за чушь! Первобытному человеку свойственно копаться не в звездах, но в кротовых норах — на большее он не способен. Чтобы транжирить богатство и мощь, надобно сперва иметь то и другое. Звезда — не заначка накопителя, солнце не грош на черный день, астротехник — не скряга. Сколько бы ни потреблять солнц, всегда останется невостребованная безмерность, своей огромностью глумящаяся над любым счетоводством; следственно, бросить Космосу вызов может лишь абсолютное бескорыстие. Слепому хаосу звездных огней должно противопоставить сознательную волю ко вселенскому пепелищу. Впрочем, мы уже вступили на этот путь — разве мы не сокрушаем атомы вдребезги? Ножки протягивают по одежке,

а значит, ветротехника высших цивилизаций должна быть оргией метких ударов, кладущих конец идиотскому вращению небесных тел, и притом ради чистого удовольствия, а не ради корысти. Небосводы полны галактик, пускаемых в распыл, что, кстати сказать, объясняет всеприсутствие космической пыли. Поэтому братский разум узнается на астрономическом расстоянии по небывалой мощи пинков, наносимых зданию Вселенной, — именно так заявляет он о своем разумном присутствии в ней. Пока еще любая комета запросто смахнет нас хвостом с родимой Живли, любое мигание Солнца грозит нам гибелью, но со временем возрастает *наша* мощь, а не Космоса, и настанет блаженный день, когда мы сбросим оковы и покажем братьям по разуму, что не святые горшки обжигают, а то и где раки зимуют!

Итак, Космос не разбухает и не разваливается сам по себе, но разлетается у нас на глазах от взбучки, которую задают ему высшие астрократии.

Эти ученые споры потонули в канонаде очередной мировой войны, в которой телесные ретрограды сразились с альянсом соматической вольности. На счастье, обошлось без крупных по-

терь, поскольку порубанные вражьи тела воссоединялись прямо на поле брани в лазаретницах, или полевых воскрешальнях, а главнокомандующий здесь же, на месте, посвящал в рыцари самых лихих рубак; в народе их прозвали отрубными баронами. Лагерь старотелов потерпел поражение, что рикошетом ударило по живлянским церквям, взявшим сторону консерваторов. Локальные заварухи, такие как бюстобунт или поясничнохребетный мятеж, случались и позже, но все они были подавлены, и после установления суровой биттатуры наступил (ненадолго) мир.

Это следует пояснить. Уже на пороге телотворительной эры каждый живлянин вел двойную жизнь, одну обычную, другую — моделируемую цифровым методом в центре персонального счета (хотя многих коробил этот незримый надзор, прозванный цифрократией). Но иначе было уже нельзя: никто не мог удержать в голове экономическую и прочую жизненно необходимую цифирь, а если бы и мог, все равно бы не захотел. Поэтому порядок сохранялся благодаря информанкам и моделякам, что наблюдали за всею Живлей через оптику спутников, которые в народе окрестили Верхоглядами.

В эту эпоху всевольностей лишь добродетель

стыдилась показаться при свете дня. По понятным причинам проституция давно захирела, а ее заменители — девствухи и любодевы — не имели успеха: всякий знал, что истинная невинность не торчит на углу улицы, а если торчит, значит тут что-то не то. В тайных клубах целомудры целибатничали с целомудрицами, сидя на хлебе и воде. Именно в этой среде информанки персонмоделирования особенно рьяно проповедовали разврат. Впоследствии в этом была усмотрена злонамеренная подготовка к битовороту. Однако о мыслемолках никто не заботился — те росли себе сами; когда же численность живлян перевалила за миллиард, обнаружилась нехватка места в цифровейниках, хотя каждый электрон тащил на себе целую охапку битов. Началась экспансия цифровой индустрии в глубь планеты; геологические слои один за другим преобразовывались в битические, и наконец раскаленное ядро Живли превратилось в Мудро, о чем, впрочем, мало кто знал, так как внимание граждан занимали новые виды спорта (в частности, случной и многоложный), новые музыкальные жанры (концерты для блудофона) и т.д.

Правда, случались недомогания моделирования, именовавшиеся цифрозом; в таком

случае гражданин в мгновение ока лишался недвижимости, банковского счета и полностью обезличивался, но это, по общему мнению, было в порядке вещей.

Пораженный цифрозом (безличник) не имел ничего и не мог никого призвать в свидетели, ведь ни родителей, ни детей, ни супругов давным-давно и в помине не было, а лица, с которыми занимаешься блудыжничеством, впиянством и прочими формами увеселительного сквернавства, в свидетели не годились. Коль скоро каждый сквернился с каждым, никто, кроме компьютеров, не знал никого хорошенько, и персональная судьба, запечатленная в Мудре, висела на тоненькой ниточке ферритовой памяти, на глубине в тысячу миль под ногами у каждого живлянина. Порою из-за короткого замыкания судьбы двух лиц сливались в одну или же расщеплялись данные одного индивида, последствия были равно плачевны. Безличников преследовала навязчивая идея несуществования. Этот социальный недуг (нетчество) чаще всего проявлялся в виде синдрома Нетуса. Будучи всем сыт по горло, не зная, кто он, собственно, такой, говоря «нет» всему окружающему, безличник рыл где попало яму, чтобы исчезнуть в ней. Встречались лю-

бители интимных утех как раз с анонимными ямниками, которых выискивали особливые доезжачие со сворой экстерьеров, насобачившихся в отыскании нетческих ям. Отсюда видно, сколь усложнилась жизнь в ту эпоху.

Центры персон-моделирования работали в телотворительную эпоху с перегрузкой, ибо граждане двоились и троились на глазах, множа себе тела на любые оказии. Не было недостатка в миллионерах-коллекционерах; не желая ни с кем делиться радостями плоти, они размножались, разврата ради, почкованием. Персональное моделирование подобных субъектов, которые одной головой командовали целым полком тел, было нешуточной математической проблемой; в народе таких главарей прозвали телоначальниками. Они ли довели Мудро до коллапса, или, напротив, само оно довело народные массы до скоростной эротации — неизвестно и ныне. Так или иначе, Мудро объявило военное положение и провозгласило себя верховным правителем Живли под именем Мудриссимуса.

Отрезвленные столь внезапно и столь жестоко, живляне выказали прежнее мужество и сметливость в беде, ибо, как глубокомысленно рассуждали потом, беда породила их и лишь в ней

они чувствовали себя как рыба в воде. Мировая война с раскинувшимся под Живлей самозванцем ничуть не напоминала прежних войн. Обе стороны, имея возможность уничтожить друг друга за доли секунды, как раз поэтому ни разу не соприкоснулись физически, но сражались информационным оружием. Речь шла о том, кто кого заморочит лгашишем подтасованных битов, оглоушит брехном по черепу, кто ворвется, как в крепость, в чужие мысли и переставляет штабные молекулы неприятеля наоборот, чтобы его разбил информатический навралич. Стратегический перевес сразу же получило Мудро: будучи Главным Счетоводом планеты, оно подсовывало живлянам ложные сведения о дислокации войск, военных запасов, ракет, кораблей, таблеток от головной боли и даже переиначивало количество гвоздиков в подошвах сапог на складах обмундирования, дабы океанским избытком лжи пресечь всякую контратаку в зародыше; и единственной серьезной информацией, посланной на поверхность Живли, был адресованный фабричным и арсенальным компьютерам приказ немедленно стереть свою память — что и случилось. И, словно этого было еще недостаточно, в завершение штурма на глобальном фронте Муд-

ро перевернуло вверх дном картотеки личного состава противника, от главнокомандующего до последнего киберобозника. Положение казалось безвыходным, и, хотя на передовую выкатывали последние не заклепанные еще вражьими враками лгаубицы, устремляя их жерла вниз, штабисты понимали, что это напрасно; и все же требовали открыть брехометный огонь, чтобы ложь брехней обложить: мол, если и гибнуть на поле врани, то хотя бы с необолганной честью. Главнокомандующий, однако, знал, что ни один его залп узурпатора не потревожит, ведь тому было проще простого прибегнуть к полной блокаде, то есть отключить связь, не принимая к сведению вообще ничего! И в эту трагическую минуту он решился на самоубийственный фортель: велел бомбардировать Мудро содержимым всех штабных архивов и картотек, то есть чистейшей правдой; в первую голову в недра Живли обрушили груды военных тайн и планов, до того засекреченных, что один лишь намек на них означал государственную измену!

Мудро не устояло перед искушением и принялось жадно поглощать бесценные сведения, которые, казалось бы, свидетельствовали о самоубийственном помешательстве неприятеля. Меж

тем к сверхсекретной информации примешивали все большие порции не столь существенных данных, но Мудро, из любопытства и по привычке, ни от чего не отказывалось, заглатывая все новые лавины битов. Когда истощились уже запасы тайных трактатов, шпионских донесений, мобилизационных и стратегических планов, открыли шлюзы битохранилищ, в которых покоились старинные мифы, саги, предания, прачиавеческие легенды и сказки, священные книги, апокрифы, энциклики и жития святых. Их экстрагировали из пергаментных фолиантов и закачивали под давлением в недра Живли, а цифрократ-самозванец по причине инерционности и самовлюбленности, тупого упорства и рутинерства поглощал все, жадный и ненасытный безмерно, хотя и давился уже избытком битов; и наконец они застряли у него электрической костью в горле: не содержание, но количество данных оказалось убийственным. Чистейшая правда, спрессованная в мощный информ-заряд, саданула Мудро под каждый его транзисторный бок, сожгла его пробки, затопила его казематы, полные еще не выстреленных вракет, и разорвала его изнутри, так что с многомильных битопроводов, искусной сетью заткавших пла-

нетный череп, потекла медь — и снова, как в прадавнюю эру, кружила Живля вокруг Солнца, заполненная огненным жидким металлом... Как в тишине началось, так в тишине и кончилось первое в истории информатическое сражение. И все вроде бы пошло по-старому, но еще четверть века приходилось распутывать, атом за атомом, хаос первой минуты схватки. Прежних высот живлянская цивилизация достигла лишь спустя сорок лет.

Эта война неизгладимо запечатлелась в духовной жизни. Среди гражданских и военных историков вспыхнули жаркие споры. Одни полагали, что не количество одолело качество, но истина — ложь, ибо дезинформация спасовала перед добросовестной информацией.

Сходных воззрений держалась официальная церковная историография, которая спасение Живли объясняла вмешательством Провидения в облике Высшей Истины.

Школа рационалистов утверждала, что как раз наоборот: логическую натуру Мудра разорвало несчетное множество кричащих противоречий, которыми кишат богословские труды, — а именно ими начиняли последние боезаряды. Поэтому, хотя Живля и обязана своим спасением религии,

но на иной манер, нежели того хотелось бы ее ревнителям.

Нашлись антропософы, заявлявшие, что ни то, ни другое, ни третье: мол, измена изменой аукнулась, сперва Мудро нас, а после мы его одурачили, в чем видим постоянство чиавеческой природы, ведь сражались мы, в сущности, с ее зеркальным, только увеличенным, отражением. Бунт Мудра есть повторение пещерной сцены, когда один прачиавек оглоушил другого обгрызенной костью. Споры эти пошли на пользу гуманитарным наукам, ибо в ряды дискутантов призвали резервистов-магистров, спешно производимых в полные доктора. Историческая победа стала благодарной темой и для изящных искусств. О ней было написано много правды и еще больше вымыслов, включая классическую легенду, что-де последней каплей, переполнившей чашу терпения самозванца, оказалась детская сказочка «Код Ученый», — но это слишком красиво, чтобы быть правдой; как кто-то заметил, Ученый Код изящно врет.

Демобилизованные вояки, возвращавшиеся в родные пенаты, не спешили доставать из домашних хранилищ запыленных кибергурий и купидам, брошенных в годину войны. Уж

больно по-штатски выглядели учения с ними, а между тем боевой дух прямо-таки кипел, ведь, правду сказать, мало кто успел досыта навоеваться. Бизнесмены поняли вмиг, что прежние любисторы и любоны изжили себя. Настроение царило повсюду романтическое и патриотическое, невостребованное мужество следовало на что-то употребить; однако при всеобщей жажде ратного подвига было не с кем сражаться. Коль скоро врага уже нет, сказали себе акулы большого бизнеса, надобно его выдумать, тем более что технические средства имеются. Так появились врагобойни. В комплект врагобойни входила модель омерзительного оккупанта, личностные характеристики которого въячивались в программу путем опускания в заднюю прорезь специального въявчика величиною с монету. Въявчиков предлагалось навалом — каждый с иным типом вражьего «Я», то коварно-жестоким, то агрессивно-нахрапистым, однако всегда низменным. Въячив личность врага по своему вкусу и раскусив его гнусные происки, клиент выступал на бой в защиту отчизны, которая, заметим, отнюдь не была абстракцией. Изготовители предусмотрели заранее, что если полем сражения будет жилище, то и отчизна, защища-

емая собственной грудью, должна уместиться в нем, и в комплект входила ее аллегория — с развевающимися волосами, лавровым венком в руках, в одеянии, трепещущем, словно знамя (в цоколе имелось для этого поддувало). Обратив на клиента нежно-доверчивый взор, отчизна молила его о спасении, а после венчала победителя лаврами. Исход сражения гарантировался особыми рычажками на щите управления; впрочем, победу можно было одержать, не вставая с кровати, купив недорогой удлинитель к истязатору. Уничтожить врага можно было сразу или с оттяжкой, приберегая недобитыша на потом, — смотря по темпераменту и убеждениям. Сторонников суровости, строго дозированной во времени, не тревожили вопли истязуемого врага — на этот случай имелся превосходный глушитель.

Ретрограды, которых всегда предостаточно, тотчас подняли шум: пытаясь очернить программу боенизации, они утверждали, что врагобой — вовсе не тренажер патриотизма и не школа беззаветной любви к отчизне, как уверяет реклама, но цифровое палачество, достойное маркиза Де Зада, благословение которого, безусловно, почиет на изобретателях.

Врагобой, заявляли они, эксплуатирует самые

низменные инстинкты, учит измываться над беззащитной жертвой, а сказочка о защите отчизны не более чем жалкий предлог. Почему, скажите на милость, отчизна — не степенная дама в годах, не матрона, не респектабельная и живая старушка, но монументальная девица? И почему ее пеплум снабжен замком-молнией? Врагозащитники вышли на улицы, демонстративно круша врагобойни и разбивая отчизны, чем, однако, навлекли на себя всеобщее негодование, умело подогреваемое врагобойной индустрией, которая обвинила их в публичном оскорблении патриотических чувств. Начались бесконечные судебные разбирательства, патриоты, распаленные только что одержанным домашним триумфом, со свежими лавровыми венками на головах бежали громить врагофилов, а тем временем ассортимент въявчиков пополнился совершенно новыми образцами. Теперь уже можно было, наряду с агрессорами, моделировать личности, во всех отношениях позитивные. Духотеки предлагали широкий выбор как вымышленных, так и реальных лиц, что, впрочем, повлекло за собой процессы о дистанционном нарушении личной неприкосновенности; дело в том, что многие заказывали себе знакомых, родственников и начальников,

чтобы дать волю чувствам, которые прежде подавлялись, порождая неврозы и прочие осложнения. После длительных прений лизанский Верховный Суд постановил: публичные действия в отношении моделируемого лица, которые, будь они совершены в отношении физического лица, предусмотрены в уголовном кодексе, могут служить основанием для вчинения дистанционно потерпевшим иска об оскорблении личности. Но те же действия, совершенные частным образом и без свидетелей, не составляют события преступления. Разумеется, противники духовок (именно так назывались отныне врагобойни) снова подняли крик, доказывая, что пользование духовками, будь то публичным или частным образом, абсолютно безнравственно, а все утверждения рекламных агентств (дескать, духовки восполняют дефицит дружелюбия, искреннего участия и нежности, ударяющий по широким массам, и с моделируемым лицом возможны лишь идеальные духовные отношения) сплошная ложь. Будь это правдой, изготовители убрали бы истязаторные рычажки, тогда как на новой модели их больше, чем имелось на старой. Изготовители отвечали, что только выродок способен сделать что-либо дурное с родственной цифровой

душой, обожаемым начальником или достойной супругой дружественного Лизанции монарха, но между нашими клиентами выродков, безусловно, нет. Впрочем, это личное дело покупателя, что ему делать с покупкой, — в полном согласии с конституцией и постановлением Верховного Суда.

Крики оппозиции не помогли — спрос на духовки был огромный. Правда, процессы об оскорблении личности продолжались, правоведы не покладали рук, неясно было, например, наказуемо ли публичное самохвальство деяниями, совершенными частным образом в отношении главы соседнего государства или, скажем, умершей сестры соседа. Что это: crimen laesae majestatis[15] или некрофилия, а может, только пустая видимость — все равно что рассказывать сны, за которые никого не потянешь в суд? Эти споры оживили законотворчество и расширили границы гражданских свобод. Владелец духовки мог делать с въяченными духами что угодно, лишь бы не нарушался покой соседей. Публично духобойничать запрещалось, однако же в частных клубах духоббисты оспаривали

---

[15] Примечания: 15
Нарушение закона об оскорблении величества (*лат.*).

пальму первенства, приканчивая рекордное число самых что ни есть железных характеров в один вечер. Что любопытно, усилился спрос на ученых; правда, благотворных плодов общения со столь просвещенными духами как-то не замечалось; поговаривали, что чем больший дурень клиент, тем более охоч он до мудрецов — видать, не ради уроков и поучений, потому что не умнеет ничуть, хотя то и дело бежит в духотеку за новой пачкой въявчиков. Те, кому не хватало фантазии, в пособии по душеложству могли почерпнуть широкую гамму комбинаций. Появились также духовки с временной лупой, замедлявшей и укрупнявшей процесс истязательства. Духозащитники в своих писаниях заявляли, что стоит только историческим обстоятельствам возвысить уровень общественной нравственности, как торгаши тут же стаскивают ее в канаву; именно это случилось после информатической войны, когда патриотический подъем был обращен в источник наживы. Эти нотации не нашли отзыва в обществе, впрочем, они приутихли, когда начала развиваться астронавтика. Дело в том, что на пути освоения космического пространства появилось препятствие, интересное уже тем, что его не предвидел ни один из футуро-

гностиков и прогнозеров, которых в одной лишь Лизанции насчитывалось девяносто тысяч. Они разводили рацеи о безграничных перспективах покорения планет, предсказывали темпы их колонизации, с невиданной точностью подсчитывали тоннаж ценных руд, минералов и прочих сокровищ, которые Живля будет привозить со всей Солнечной системы, и все это, несомненно, сбылось бы до мельчайших подробностей, если бы не одна мелочь. А именно: когда уже можно было покорять планеты и луны, благоустраивать девственные материки, разворачивая на них героическую и животворящую деятельность, короче, выказать первопроходческий дух в борениях с, трудностями, — никто почему-то не рвался в первопроходцы. Желающих не было! Поэтому власти порешили начать все сначала — дать как бы задний ход и после возвращения на исходные рубежи сыграть на другой струне. Коль скоро колонизация планет в качестве приключения века, высочайшего отличия и исторической миссии не вызывает энтузиазма, надо переименовать планеты в кутузки, а посылку героев — в ссылку преступников. Тем самым можно будет прикончить двух зайцев сразу: управиться со всякими крикунами, смутьянами, баламутами

и заодно — с перенаселением, а то становилось уже тесновато.

Эта политика проводилась сто с лишним лет, после чего пришлось с огромным сожалением от нее отказаться. Хотя экспорт новейших технологий на штрафные планеты и был запрещен, ссыльнопоселенцы, среди которых преобладал народ даровитый и образованный, сами додумались до неположенных им технологий, создали свой ракетный флот, учредили трехпланетный союз и, обобществив ископаемые вместе с промышленностью, стали хозяйствовать по своему усмотрению. Вряд ли можно было в этих условиях продолжать политику ссылок, равнозначную отныне посылке подкреплений для космически разросшейся оппозиции. Живля перешла к полной изоляции от населенных планет; этим и кончилась программа покорения околоживного пространства.

Все проходит, так что со временем и духобойство приелось и вышло из обихода, вытесненное новыми веяниями, а давка все нарастала: количество живлян удваивалось уже каждые шесть лет. Правда, мастурбанисты по-прежнему возводили просторные самотни для миллиардеров с нарциссистскими вкусами, но позволить себе

такое могли только крезы. Заурядному миллионеру приходилось довольствоваться членством в закрытом клубе, например роялистском, где практиковали роялизм как ирреализм, то есть без королевства, располагая лишь тренировочным скоросборным троном трескотроном; для самых занятых, тех, кто хотел поцарствовать, не отрываясь от рабочего стола, имелся телетрон. Но уже не во всякую пору можно было выйти из дому, столь плотной массой текли по улицам толпы. Демографы принимали резолюцию за резолюцией, каждое государство призывало соседей одуматься, а те то же самое, только наоборот. «Убеждение, одно лишь убеждение! — заявляли правительства. — Для того и трудились наши предки до кровавых мозолей, чтобы уже никто никогда никому не мог ничего запретить!»

Церковь поддерживала противников регулирования рождаемости: дескать, давка — трудность лишь временная, за гробом будет очень даже просторно. Между тем все больше наблюдалось странных явлений, прежде неведомых, например, жутеоров и фата-мордан; особенную же тревогу вызывали похищения. В средневековье разбойники похищали богачей ради выкупа; время от времени это случалось и позже, но все-

гда для предъявления каких-либо требований. Теперь же почти никто не требовал выкупа, а главное, похищенные исчезали бесследно. На смену простецкому похищению ракет и авиалайнеров пришли операции более сложные. Появились спецы, похищавшие похитителей вместе с похищенными, — так называемые похищаки; а тех, в свою очередь, запихивали в мешок похищенцы, которые свои операции планировали методом динамического программирования, чтобы снизить производственные издержки. А похитисты были теоретиками движения и прогнозировали постхитителей, которые должны были появиться к концу столетия и похищать в энной степени при помощи телекинеза, или духоловства. Что же касается самохищенцев, то они, по крайней мере, легко поддавались психиатрической классификации — как экстраполяция самоблудников. Врейдисты усматривали во всем этом новое воплощение задизма, но антиврейдисты лучше объяснили загадку: ни инстинкт смерти, ни агрессивность, ни деньги, ни подавленные детские комплексы тут ни при чем, речь шла просто об избавлении от ужасной давки, а так как в ней всегда виноваты другие, то этих других и брали за шкирку, чтобы запихнуть куда

ни попадя. Специалисты по коллективным психозам назвали новое социальное заболевание похищенским запиханством.

В этом почти безвыходном положении (похищенческий позыв проявлялся в еле заметном перебирании ногами на месте, и ногами сучили уже самые высшие офицеры полиции) на помощь живлянам снова пришла наука, как всегда, безотказная. Началось повсеместное внедрение технетики, то есть синтетической этики, искусственно разводимой, штампуемой и монтируемой как проводным, так и беспроводным манером. Малышей спасали от давки в пустышечных резерватах, где места было навалом. Кроме того, уже в пеленки им вкладывали напоминайки, внедрявшие в умы уважение к ближним. Если бы и нашелся кто-нибудь, кто захотел бы обидеть ближнего хотя бы по переписке, укорялка тут же принялась бы его отговаривать, а подушечка-думка нашептывать сквозь сон, чтобы он это дело бросил. Если же он, допустим, упорно стоял на своем, затыкал себе уши, обычные дидакторы разбивал, а бронированные обкладывал войлоком и домашними туфлями, то защиту неприкосновенности брали на себя фильтры агрессивных намерений. Напишет он,

например, анонимку, а чернила разольются, почтовый ящик порвет письмо, в крайнем же случае предохранитель последней линии добросердечия заботливо разобьет адресату очки. Упрямец взбеленится, попробует нанести телефонное оскорбление, а телефон все ругательства отфильтрует; и если даже в припадке бешенства он погонится за ближним с палкой, та, имея в структуре своей добротизатор, сломается еще до удара!

Похищения как рукой сняло, правда, не потому что все как один смягчились душою, просто было не до того: каждый с утра до ночи ломал себе голову, как бы околпачить фильтрацию и сделать ближнему то, что ему немило, ради чистого удовольствия. Вырос спрос на динамит и кумулятивные бомбы, а производство воска и войлока подскочило на восемьсот процентов. Это привело к эскалации социотехнических методов: бомбы взрывались бомбоньерками и благовонными букетами, а втолковники и укорилки гремели, как иерихонские трубы. Когда же самолеты начали выписывать в небесах назидательные сентенции, население бросилось раскупать картузы с длинным козырьком и темные очки. Безумное наступило время. Воскрешальни трудились без

передышки, особенно в обеденную пору; дело в том, что если затевающий что-то недоброе садился за стол, а макароны в тарелке складывались в назидательную надпись, то нередко он вместо супа проглатывал ложку, чтобы покончить с собой раз уж не может покончить с ближним.

В конце концов борьба технетики с населением стала азартной игрой, а тем самым частью массовой культуры — в виде тотализатора-морализатора (сокращенно — тотомор). Главный выигрыш доставался тому, кто первый оставит с носом новый добротизатор. Терроризм пошел на убыль, поскольку не все противодобротные средства допускались в игре, а за нарушение правил грозила дисквалификация. С помощью материальных стимулов удалось устранить в зародыше приватные атомные конфликты, ареной которых раньше других стала Лизанция, держава, передовая во всех отношениях. Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы не тотомор; ведь достаточно было слуха, будто боевики-телобитники завалили штаб-квартиру аморализаторов письмами (которые, дескать, пропитаны солями урана и, слившись в критическую массу, поднимут на воздух полгорода), чтобы разразилась страшная паника. Миллионы беженцев забили дороги, а

сверху на них обрушился град орнитоптеров, налетавших друг на друга в воздушных пробках. Радиус возникшей при этом гробосферы (или же давкострады) достигал двухсот миль. На счастье, подобные катастрофы более не повторялись. Упомянутое нами движение телобитников возникло в связи с упадком телотворения. Многотельству (которое осуждали за расточительство) положило конец обстоятельство совершенно банальное и, как обычно, непредвиденное — дефицит прядильно-ткацких бромидов; а без них нельзя синтезировать телеуправляемых вирусных хромопрядов. И вот, когда сырье для изготовления хромопрядов подорожало двухсоткратно, а пять крупнейших телотворительных консорциумов вылетели в трубу, лизанская молодежь создала субкультуру телобитников, требуя тел возможно более дешевых, экономичных, удобных и скромных. Что же касается аморализаторов, то они предложили в конгрессе закон о пожизненном заключении за повреждение добротизаторов деморалками (разновидность злобоголовок, самонаводящихся на все добродетельное). Но вам, надеюсь, понятно, что в такие детали нашей истории мы не можем вдаваться.

Борьба механизированной любви к ближнему

с террористами и ревнителями личной свободы была, разумеется, лишь эпизодом на фоне по-настоящему серьезных событий. На планете шла куда более грандиозная, хотя и бескровная схватка — с демографическим потопом.

Надо отдать должное технике — она делала что могла, дабы облегчить все более тяжкую участь граждан. Так называемой циклической снедью, или же пищей многоразового пользования (она проходила через организм в неизменившемся состоянии), питались самые бедные. А чтобы напрасно не раздражать их, были устроены секреторaны — конспиративные заведения, в которых клиенты со средствами могли объедаться как прежде. Чудеса кулинарного искусства кромсали здесь втемную, видя их лишь на экранах нoктовизоров, зато не соблазняя зевак. Урбанисты могли за каких-то три дня возвести миллионный город из тесноскребов, и эти быстрограды заполняли остатки незастроенного пространства; в сущности, вся Лизанция была уже одной сплошною столицей. Одновременно развернулась лихорадочная миниатюризация всего, что только можно было уменьшить, от книг и газет до железных дорог. На смену метро пришло дециметро, а потом и сантиметро. Однако работу

редукционной промышленности затрудняли неизменившиеся размеры самих живлян. Снова раздались голоса ярых антинаталистов, которые миниатюризацию объявили тупиковым путем и домогались регулирования рождаемости; но о таком грубейшем посягательстве на основные права живлян никто не желал и слышать. Лишь господствующим настроением умов можно объяснить легкость, с которой парламенты одобрили генженерный проект, известный под названием сокращенческого закона. Он предусматривал редукцию стандартного гражданина в масштабе 1:10. Разумеется, имелось в виду следующее поколение живлян. Чтобы сохранить свободу деторождения, постановлялось, что тот и только тот, кто подвергнется генной перестройке, вправе произвести на свет любое количество потомков. Это было хитро задумано, поскольку устраняло принудительную микрогенизацию: тот, кто не шел на нее, умирал без потомства, так что следующее поколение состояло из одних лишь микромалюток; когда же их родители вымерли, планетную экономику спешно редуцировали в том же масштабе. Всеобщий комфорт не потерпел никакого ущерба, ведь все уменьшилось в равной пропорции. Церкви выбрали меньшее зло и дали

согласие на этот маневр. Впервые с незапамятных времен все наслаждались блаженным простором, а вдобавок ощущали необычайную легкость — ведь самые упитанные толстяки весили двести граммов; но скептики и пессимисты пророчили, что от таких облегчений жди новых мучений.

И точно, катастрофическая давка возобновилась через каких-нибудь десять лет. Хотя главные генженеры-сократители понимали, что дальнейшая микроминиатюризация — лишь временный выход, ибо ей положит конец несжимаемая структура материи, они тем не менее были вынуждены решиться на шаг столь же радикальный, сколь и отчаянный, то есть на вторую редукцию в том же масштабе (1:10). Следующее поколение живлян без пожарных лестниц не могло уже взобраться на дедовскую пепельницу, выставленную в историческом музее. Теперь наконец можно было вздохнуть полной грудью. Каждая грядка стала садом, клумба — девственной пущей. На микроживлян обрушились поочередно три мировые войны — с мухами, комарами и муравьями. Даже самые древние старики не могли припомнить таких поражений, тем более что во время массированных комариных налетов с тыла ударили тараканы, выбравшиеся из городских подземе-

лий. Их черный панцирь поначалу не брали танковые орудия, что нетрудно понять, приняв во внимание, что средний танк весил тогда пять граммов. Кошмарные комары, размах крыльев которых превышал размах рук взрослого живлянина, пикировали на прохожих и высасывали из них кровь, оставляя на тротуарах скорченные трупы; мухи пожирали свои жертвы мерзкими клеистыми хоботками; и хотя с помощью кумулятивных снарядов и термитных гранат в конце концов удалось одолеть даже самый толстый хитиновый панцирь, хотя враг устилал своими трупами землю, хотя трофеи были огромны — из павших жуков делали ванны, а перепончатокрылые годились на планеры, — истребить неприятеля без остатка не удалось; поэтому были мобилизованы все техсредства, чтобы спешно накрыть города насекомостойкими куполами из стекловидной массы. Как пишут хронисты, тем самым на смену открытой миниатерре пришла замкнутая. Впрочем, тараканы по-прежнему устраивали партизанские набеги; но теперь армию заменила полиция, а главные оборонительные функции взяли на себя автоматические ловушки и роботы, вооруженные лазерным оружием. Лишь немногие поселения под открытым

небом просуществовали до конца столетия, да и то благодаря противокомарной артиллерии и ракетам с самонаводящимися на звуки жужжания боеголовками. Попытки одомашнивания некоторых насекомых (ос, например, объезжали) не оправдали надежд; одни лишь сороконожки какое-то время использовались в качестве пони в детских садах. Не стоят упоминания такие побочные выгоды всеобщий минимализации, как охота на специально для этого разводимых гигантских мышей, весом чуть ли не в пятьдесят граммов; трудно также понять восторги приверженцев нового восхожденческого спорта — древизма. Вершины деревьев, росших за городскими куполами, привлекали немногих смельчаков, ведь смертельной опасностью грозила не только непостижимая громадность любой березы, но и любой майский дождик, который мог смыть восходителей каплями размером с человеческую голову. Впрочем, даже если бы удалось истребить всех насекомых (что было мечтой генеральных штабов), это не изменило бы печального обстоятельства, на которое большинство закрывало глаза, — а именно, что живляне в своем нынешнем облике не способны жить на открытой поверхности; легчайший зе-

фир валил их с ног, дождик затапливал, пташка могла заклевать на месте. А между тем появились грозные симптомы перенаселения, уже хорошо известные: повсюду опять была давка, и отчаянье охватило умы. Разумеется, о регулировании рождаемости не приходилось и заикаться; раз уж ради спасения основного права живлянина было принесено столько — и каких еще! — жертв, это означало бы позорную капитуляцию, и уже по соображениям престижа любой иной выход казался предпочтительнее. Такой выход предложила лизанская Академия Наук и Художеств — в виде федеративного проекта. Составленный Академией манифест распространили все агентства печати. Проект предусматривал такую переделку наследственности, чтобы все следующее поколение смогло соединиться в гигантское гармоничное целое, неотличимое от прачиавека — того великана, легендарные, чуть ли не двухсотсантиметровые размеры которого просто трудно вообразить. «Решившись на этот шаг, мы потеряем немного, — гласил манифест, — в сущности, ничего; разве мы не стали уже узниками собственных городов? Ведь мы не можем противостоять ни мухе, ни ветерку! Мы живем, безнадежно и навсегда отрезанные от природы,

и вынуждены заменять ее пушинками и травкой искусственных садиков, испытывая ужас пополам с восхищением при виде любой кротовой норы; нам не дано охватить взглядом так называемые горы, о которых мы можем только читать в древних книгах, унаследованных от наших дедов-гигантов. Но именно такую монументальную фигуру и воскресит федеративный проект; а притом из слияния восьми миллиардов живлян возникнет не просто прачиавек, но невиданное прежде создание, двуногие соединенные штаты клеток, истинный градозавр, державоход, перед которым откроются все просторы планеты. В ее безмерности он не почувствует себя одиноким, ибо в дикую пущу вступит не одиночка, но многомиллиардное общество».

Мысль, брошенная лизанскими академиками, зажгла сердца и умы и была одобрена во всеживлянском плебисците. Однако всеобщая история — не идиллия; начались непредвиденные конфликты, а потом и последняя уже мировая война, которая вспыхнула из-за того, что каждая церковь претендовала на свою особую конгрегацию и свой голос в будущем державоходе, то есть на собственное ротовое отверстие, состоящее из верующих и клира; но это было никак невоз-

можно: при стольких отверстиях получился бы дырчатый сырганизм. Услышав этот вердикт, непокорное духовенство развернуло подрывную работу. Появились пасквили, в которых будущий державоход именовался чудовищной ходячей тюрьмой, порабощагой, двуногой галерой, отданной на произвол мозговой элиты, которая совершенно буквально будет кормиться кровью миллионов сограждан. Распространялись клеветнические наветы, будто в центрах восприятия наслаждения все места уже втихую поделены между конструкторами и их начальством. Эти подстрекательские потуги, безусловно, встретили бы достойный отпор, тем более что ботаникам удалось вывести сорт цветов, пахучие субстанции коих обладали этифицирующими свойствами; будучи выброшен на рынок, благодетельный цветок успокаивал взволнованные умы, словно елей, льющийся на грозные волны; но тут, на беду, в печать просочились тайные документы проекта. То были протоколы совещаний, на которых компетентные эксперты признавали, что не все живляне в равной мере способны заполнить различные ячейки державохода. Некоторые провинции, особенно нижне-задние, намечалось заселить колонистами из недоразвитых обществ,

а центральный нервный аппарат укомплектовать состоятельными лизанскими гражданами, поднаторевшими в спекулятивном мышлении.

Начертав на своих знаменах антидержавоходные лозунги и восклицая, что лучше погибнуть, нежели идти перетеляться в голень или же брюхо великораба и там надрываться впотьмах до истощения сил, — мятежники ринулись в бой. Голос партии «третьего пути» в надвигавшемся хаосе не был услышан. Я имею в виду возможников, или эвентуалистов. Они требовали превращения гениталиев в эвентуалии, в нормальных условиях бесплодные и обретающие способность к оплодотворению лишь в случае эвентуальной нужды, когда главный половой диспетчер вырубит импотенциометр на пульте планетной совокупильни. Потеря, впрочем, была невелика — их проект все равно не прошел бы.

Война, точнее, ряд локальных, но ожесточенных конфликтов, продолжалась недолго. Имея в виду всеобщее благо и ощущая ответственность за будущее Живли, державохожденцы атаковали мятежников этифицирующими газами. Штабквартиру повстанцев заняли без пролития крови, засыпав ее с воздуха охапками этифицирующих роз и фиалок; по словам очевидцев, картина

была потрясающая. Когда подготовка к слиянию уже началась, разгорелся новый конфликт, на этот раз среди самих генженеров, — по поводу плана коренной реорганизации проектных бюро. Предполагалось создать два самостоятельных комплекса: Автономную Державу Анонимных Мужей (сокращенно АДАМ) и Единоутробную Воспроизводственную Ассоциацию (сокращенно ЕВА). Что же касается сырья, то оба комплекса поделились бы населением Живли поровну. Любой другой выход, утверждалось в проекте, не убережет державоход от некой постыдной привычки, порочащей наши знамена. Если же АДАМ заключит с ЕВОЙ пакт о дружбе и ненападении, после чего обе стороны будут углублять сотрудничество на базе баланса сил и невмешательства в интимные дела друг друга, — со временем возможно установление прямых контактов, живительное влияние которых, крайне благоприятное для обеих высоких сторон, проникнет во все их закутки. Простой человек сможет участвовать в этих необычайно привлекательных сношениях в ходе своих повседневных торговых, полицейских и административных занятий благодаря тесному сотрудничеству компетентных державных органов. Этот план немедленно подвергся нападкам

со стороны церквей, увидевших в нем угрозу, хотя и косвенную, целибату клира, не говоря уж о том, что не будет ни одного священнослужителя, который мог бы узаконить этот союз. «Любые международные пакты, а также соглашения на уровне министерств и прочих органов, тут ни при чем, — гласило заявление совета церквей, — поскольку в свете канонического права ратификация межгосударственных соглашений не тождественна таинству брака, то есть речь идет о склонении государств к развратным действиям, против чего мы решительно протестуем». Но чашу весов перевесил не этот довод, а совсем другое соображение. Решившись повторить Сотворение, мы начали бы опять от Адама и Евы и самое большее через несколько тысяч лет снова пришли бы к кошмарной давке, вызванной перенаселением Живли — теперь уже множеством державоходов. Поэтому по завершении следующего исторического цикла нас ждет очередное слияние, что попахивает уже цивилизационным безумием, ведь державоход грядущей эпохи сам состоял бы из клеточек-государств. Подобная перспектива заставила содрогнуться даже авторов проекта, и они сняли его с обсуждения.

В связи со спором о поле будущего государства

некий мыслитель выдвинул оригинальную космогоническую гипотезу. Вызванное перенаселением производство державоходов из граждан, утверждал он, и притом как раз по двуполым проектам, несомненно, является космической постоянной. На это указывает само строение Вселенной, построенной из положительных и отрицательных частиц, из материи, которой соответствует антиматерия, и так далее. Таким образом, державы возникают как самцы и самки, размножаются, а их потомство учреждает государственные федерации следующего уровня. Этот процесс идет непрерывно, охватывая мало-помалу весь Универсум, так что на вопрос, из чего, собственно, состоит материя, следует ответить: из чистого субстрата государственности, полученного в результате многовекового сжатия государств, содержавшихся в государствах. И хотя, коллапсируя, они утрачивают прежние черты, все же их пол установить можно, как уже говорилось выше, а что до дальнейших подробностей, то ими должны заняться физики. Быть может, стоит добавить, что этот мыслитель был превосходным правоведом и юристом-цивилистом. Его концепция вовсе не столь несообразна, как кажется. Говоря, что атомы состоят из госу-

дарств, а государства из атомов, он, должно быть, имел в виду, что материя, существуя как де-юре, так и де-факто, абсолютно легитимна, что она представляет собой как terminus a quo, так и ad quem[16], то есть материя и право, в сущности, одно и то же, а потому вопрос, что было раньше, право или Вселенная, беспредметен постольку, поскольку вы понимаете, что мы имеем в виду. Впрочем, об этой гипотезе мы упомянули лишь мимоходом, ибо она оказалась последним плодом несконфедерированной живлянской мысли.

Итак, ограничились одним государственным организмом, и после законотворческой стадии наступила телотворительная. Прикомандирование в тот или иной орган определялось жеребьевкой, ведь каждый хотел пролезть в особо престижные органы, используя всевозможные связи и протекции. Время от времени случались скандалы по делам о коррупции. Раскрытие одной из крупнейших афер, поднебной, повлекло за собой принудительную ссылку виновных в прихребетную зону, где ощущался недостаток в поселенцах-добровольцах и вакансий было не счесть. Державоустроительной работе пре-

---

[16] Примечания: 16
Здесь: начальный, конечный пункт (*лат.*).

пятствовали постоянные волнения: кого влекло ближе к духу, кого — ближе к брюху, и если бы себялюбию дали поблажку, вместо жизнеспособного державохода получилась бы огромная голова на толстом животе, со ртом от уха до уха. Наконец наступил торжественный миг разрезания ленточки, опоясывающей нашу державу. Мы разрезали ее сами, поскольку кроме нас на Живле никого уже не было, и восстали из окружавших нас строительных лесов во всю свою высоту, в том облике, который вы сейчас видите. Не будучи в состоянии провести вас по всему государству в качестве своих дорогих гостей, мы сделаем это — вкратце — хотя бы в рассказе.

Вот в этом поворачивающемся здании, увенчанном романским куполом, размещается наш Парламент с двумя палатами, правой и левой, которые с исполнительными органами связаны довольно-таки нервной административной системой. В нижних туловищных провинциях расположены Министерство Внешнего Газообмена и Главное Управление Ирригации, объединенное, ради экономии полезной площади, с Управлением Любви к Ближнему. Посредине державы размещаются многочисленные Промсиндикаты — сахарный, продовольственный, химического

синтеза и так далее. Шестьсот миллиардов полицейских патрулей, не зная ни сна ни отдыха, охраняют все рубежи и закоулки державохода. Неплохо звучит, не так ли? Не будем, однако, скрывать от вас, что не все прекрасно в живлянской державе. Главнейшая наша особенность, а вместе с тем и забота, заключается в том, что каждый наш гражданин обладает сознанием, и в этом мизинце разума больше, нежели во многих университетах. Увы, весь наш разум не может подать голос одновременно, поэтому лишь дипломатические вокальные группы, аккредитованные в ротовом отверстии, шлют вам, по поручению парламентской комиссии по делам речи, уверения в нашей сердечной дружбе и завершают отчет о нашей истории братским приветом от имени широких масс, что трудятся на органической ниве. Вы спросите, отчего же пал духом державоход, как могло случиться, что верховная власть поручила снабженческим органам доставить чашу с цикутой? Ответим искренне: по обстоятельствам как внешним, так и внутренним, ибо те и другие сделались невыносимы. Известно ли вам, до чего мы дошли после пятнадцати тысяч лет славного цивилизационного строительства? Располагая вот этой единственной парой рук

— пусть даже на службе в них состоят миллиарды граждан, — мы были вынуждены кочевать под открытым небом и питаться кореньями, допекаемые торжествующими комарами, пока наконец не перешли в позорное отступление, чтобы очутиться в склизкой пещере, возможно, той самой, которую целые эпохи назад покинул наш предок-троглодит. А все потому, что проектировщикам державоход представлялся такой монументальной громадой, просто безмерно могущественной, что они приготовили для него лишь горсточку орудий да рейтузы (впрочем, как показала примерка, чересчур узкие из-за ошибок планирования): они полагали, что такой поликан сам, с величайшей легкостью, устроится на планете. Впрочем, разве не унаследовали мы от них всю живлянскую экономику? Ну да, только какая нам польза от городов, на улицах которых мы не можем даже поставить пятку, или от роботов, которые меньше опилок? В конце концов мы, стиснув зубы, справились бы с внешними трудностями, когда бы не плачевное внутреннее состояние государства. Никто никогда не доволен у нас местом, на которое он поставлен! Хапать, прятаться, хныкать, требовать невозможного — вот их девиз! Как может парламент решать

неотложные государственные дела, если колени требуют собственных глаз, нижние полушария угрожают блокировать транспортную систему, потому что им, видите ли, жестко и зябко; а известно ли вам, что такое государственный кишковорот? Впрочем, мы бы справились с безответственными требованиями и подавили неумеренные аппетиты, когда бы не подстрекатели, укрытые в палатах парламента, врейдисты, подрывающие державное наше сознание. Можете ли вы представить себе, чего домогается эта нелегальная оппозиция днем, а особенно ночью? Захвата соседней державы другого пола — вторжения в ее рубежи без какого-либо обмена нотами, насильственно! То обстоятельство, что никакой соседней державы нет и быть не может, ничуть не умеряет этих завзятых заговорщиков! Видя, что любые переговоры и разговоры с ними напрасны, что они коррумпируют наше правительство, подкупая его картинами оккупации, помрачающей чувства, и тщатся хотя бы воображаемым блудом наш державоход ублажить, если уж реальным нельзя, — узнали мы в этих призывах голос проклятого суверена блуда, маркиза похоти, издревле подрывающего наши основы, а так как сей теломор, не уморившийся, несмотря

на свои и наши старания, по-прежнему пытается завладеть нами, внедряясь уже в верховную власть, решили мы покончить с ним и с собою. И вот после внутренних долгих дебатов отправились мы в пустынное плоскогорье, наполнили соком буяники микроживлянскую цистерну, найденную под кустом, и приложили к губам, не слушая визга внутреннего сводника, что, дескать, от неутоленного вожделения наше державоубийство, а вовсе не ради державных принципов! Правда, цистерна с цикутой дрогнула в нашей руке, но, клянемся, мы бы осушили ее до дна, когда бы не цепенящий вихрь, что обрушился вдруг с высоты, ударил, и наша держава погрузилась в ледовый сон, дабы лишь тут, в вашем братском кругу, отворить очи...